

4672

A 72

63.3(2P55)



Л. И. АНТОНОВА

Наши
ЗЕМЛЯКИ

Благовещенск 1958

63.3(2P55)

~~9142~~

17520

A72.

Анимокова л.

Наши земляки

Благоевградск, 1958

17к

13/12 87.

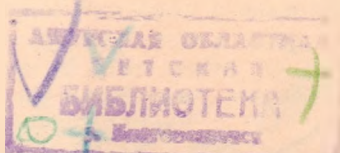
23/10-6ш

G3.3(2P55) 9(1)2
A 72

А. И. АНТОНОВА

**Наши
ЗЕМЛЯКИ**

08571



АМУРСКОЕ КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

БЛАГОВЕЩЕНСК 1958

А.И.

Отдел рукописей

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В этой небольшой книге я попыталась рассказать о нескольких наших земляках, о их боевых подвигах, творческих дерзаниях — о бескорыстном и преданном служении народу.

Повстанческая армия, уничтожившая тысячи интервентов на Амуре зимой 1919 года, и ее командарм Генрих Дрогошевский; крестьянский сын, боец за революцию Георгий Бондаренко; писательница-комсомолка Вера Жакова, называвшая «вторым отцом» основоположника пролетарской литературы А. М. Горького; простой человек, Герой Советского Союза Николай Романюк; ученый-краевед Новиков-Даурский — вот те, о ком я пишу.

Не писать об этих людях — значит остаться в большом долгу перед теми, кто жил, живет и будет жить на амурской земле.

Автор.

Благовещенск.



Путь командарма

В большой комнате бывшего губернаторского дома было сумрачно и тихо. Слегка подавшись вперед и склонив набок крупную голову, Федор Мухин, председатель Совета Народных Комиссаров Амурской области, на листе серой бумаги подводил итоги деятельности последних дней. Кажется, все предусмотрели: выбрали пункты для будущих таежных партизанских баз, сосредоточили на благовещенских пристанях двадцать пароходов и шестнадцать барж, вложили через подставных лиц в китайский банк города Сахалина полтора миллиона рублей для нужд партийной организации, уходящей в подполье. Завтра можно будет начать эвакуацию города...

Он устало откинулся на спинку стула и увидел входившего в комнату чернобородого загорелого человека в потертой гимнастерке.

— Не помешал? — негромко спросил посетитель. — Я только что с поезда и хотел бы... — Он вдруг умолк и, сняв фуражку, провел ладонью по коротко остриженным волосам.

— А вы откуда, товарищ? — спросил Мухин, зорко глядя посетителю в лицо.

— Я с Уссурийского... Вам, должно быть, уже известна обстановка? Этого фронта больше не существует.

— Да, знаю.

— Я ведал вооружением фронта. Моя фамилия Дрогошевский. Я большевик и хочу одного — быть полезным.

Мухин спокойно попыхивал трубкой, но мысль его работала напряженно.

Боевые действия на Амуре еще не начинались. То, что

для других было пройденным этапом, здесь еще предстояло пережить.

«А может это как раз тот человек, который мне нужен», — думал Мухин.

— Садитесь, товарищ Дрогошевский, — прервал он свои размышления. — Разговор предстоит долгий; сами понимаете, вижу вас впервые.

— Разумеется, — улыбнулся Дрогошевский.

Улыбка осветила его смуглое лицо и зажгла мягкий блеск в темных, широко поставленных глазах. Он придвинул к столу табурет и сел.

— Вы большевик, и я буду с вами откровенен, — сказал Мухин, — но...

Дрогошевский молча положил перед ним свой партийный билет. Мухин также молча просмотрел его и вернул владельцу.

— Так вот, — сказал он, и взгляд его стал суровым и пристальным, — могло случиться, что завтра вы нас здесь уже бы не застали. Куда мы перебазировемся и с какой целью — объяснять вам не стоит. О том же, что нас задержало, могу и должен сообщить. Ежедневно в Благовещенск прибывают с востока, из Хабаровска, с запада, из Читы, группами и в одиночку партийные и советские работники, отряды красногвардейцев, наконец, поступают ценные грузы. Бросить все на произвол судьбы — значит обречь многих и многое на бессмысленную гибель. Поняли?

Дрогошевский утвердительно кивнул. Мухин продолжал:

— А люди нам нужны. Наши люди. И вдвойне нужны те, кто может вести за собой других.

— Понимаю.

Дрогошевский смотрел в глаза Мухину прямо, искренне.

— Кстати, ваше воинское звание? Вообще, расскажите о себе, — попросил Мухин.

— Ну что ж, попытаюсь.

Дрогошевский достал из нагрудного кармана гимнастерки пачку документов.

— Вот видите, в 1914—1915 годах я работал в Приморье монтером на промывочной фабрике Сучанских казенных каменноугольных копей.

Он передал бумагу Мухину. Пробегая ее глазами, Мухин невольно усмехнулся в усы и прочитал вслух:

«...к обязанностям своим относился добросовестно и ни

в чем предосудительном замечен не был, что подписом с приложением казенной печати удостоверяется».

— Ну, подписи, как обычно, неразборчивы, — заключил он и, внезапно переходя на «ты», весело спросил: — А скажи-ка, Генрих Станиславович, с каких это пор у тебя с властями начались нелады?

Дрогошевский пожал широкими плечами.

— Пожалуй, еще в девятьсот пятом. А в семнадцатом отношения обострились донельзя.

— Что у тебя там получилось? — поинтересовался Мухин.

— Я тогда служил в Тетюхе помощником заведующего рудообогатительной фабрикой и механиком. Создали мы на фабрике профсоюз, стали бороться за сокращение рабочего дня, за улучшение бытовых условий, предъявили еще кое-какие требования, тут меня и...

Он достал другой документ и протянул его Федору Никаноровичу.

— Уволили? — спросил тот, беря бумагу.

— Нет. Лишили отсрочки по призыву.

Мухин внимательно просматривал бумаги, и Дрогошевскому вдруг до мельчайших подробностей вспомнился один из июльских дней минувшего года, когда он только что призванным ратником второго разряда вступил на территорию Владивостокского крепостного полка.

...Горячий ветер гнал по чисто выметенному двору тучи пыли. Вокруг никого не было. Он растерянно оглядывался, не зная, куда идти. Вдруг из окна казармы до него донесся громкий голос:

— Мы протестуем против введения смертной казни, против введения цензуры, против арестов большевиков и закрытия большевистских газет...

Одинокий голос потонул в гуле множества других голосов. Послышались рукоплескания. Из окна выглянул молодой веснушчатый солдат, спросил:

— Ты чего здесь подслушиваешь, а?

— Мне бы в третью роту пройти, — смущаясь, будто его и в самом деле застали за чем-то недозволенным, ответил Дрогошевский.

— А зачем тебе третья рота понадобилась? — поинтересовался солдат.

— Мобилизован я.

— Так бы сразу и сказал, — в голосе солдата послы-

шались теплые нотки. — Сыпь сюда! — закричал он весело.

Вокруг веснушчатого теснились уже другие солдаты и наперебой объясняли:

— Вот она вся твоя рота!

— Общее собрание проводили. Только что резолюцию приняли.

— Жаль, не слышал. Да мы тебе все обскажем.

Как ему запомнился этот день, 18 июля 1917 года!

А спустя девятнадцать дней воззвание Четвертого артиллерийского полка к гарнизону города и рабочим стало известно далеко за пределами Приморья. В этом воззвании говорилось:

«...Нет больше путей, которые явились бы избавлением для России, кроме одного пути — социальной революции. Мы убедились, что только уничтожение частной собственности на земли, заводы, рудники, шахты является единственным средством для избавления России от страданий, в какие она поставлена капиталистами. Мы убедились, что чем скорее совершится этот переход от капитализма к социализму, тем скорее воскреснет из мертвых Россия».

...Бурное собрание гарнизона Второй речки потребовало: немедленно переизбрать идущий против революционной демократии Владивостокский Совет.

Через несколько дней «Известия Владивостокского Совета» сообщили: «В исполком Совета рабочих и солдатских депутатов избрано 18 большевиков, 11 эсеров, 6 военных представителей, 3 меньшевика и 2 беспартийных грузчика». В списках членов нового исполкома стояло имя Генриха Дрогошевского, председателя полкового комитета.

29 ноября 1917 года во Владивостоке установилась Советская власть.

Мухин просматривал документ, свидетельствующий о напряженной деятельности Генриха Дрогошевского в этот период. В датированном 9 января 1918 года удостоверении говорилось:

«Дано сие члену Владивостокского Совета рабочих и солдатских депутатов тов. Дрогошевскому в том, что он делегируется для агитации среди трудового казачества в отношении совместной борьбы с контрреволюцией, что подписью и приложением печати удостоверяется.

Председатель Совета К. Суханов».

Днем раньше Генриху Дрогошевскому был вручен членский билет № 177 Владивостокской организации Российской социал-демократической партии (большевиков).

В эти трудные для молодой Советской республики дни Владивостокский городской Совет получил телеграмму Владимира Ильича Ленина, в которой говорилось:

«Мы считаем положение весьма серьезным и самым категорическим образом предупреждаем товарищей — не делайте себе иллюзий: японцы, наверное, будут наступать. Это неизбежно. Им помогут, вероятно, все без изъятия союзники. Поэтому надо начинать готовиться без малейшего промедления и готовиться серьезно, готовиться изо всех сил. Больше всего внимания надо уделить правильному отходу, отступлению, увозу запасов и жел.-дор. материалов».

Эту телеграмму Ленин адресовал Владивостокскому Совету, но мысли его были поняты и здесь, на Амуре: предусматривая все мелочи, организовывал сейчас временное отступление из Благовещенска руководитель амурских большевиков Федор Мухин...

Дрогошевский вздрогнул: Мухин отложил в сторону бумаги и сказал:

— Когда на амурскую землю ступит нога интервента, народ поднимется на борьбу. Нам потребуется, ни много ни мало, командующий повстанческой армией... Считаете ли вы для себя возможным возглавить такую армию? Армию, не имеющую ни настоящего вооружения, ни боеприпасов, ни соответствующего обмундирования. Вас не пугают трудности?

— Нет, — просто ответил Дрогошевский, — не пугают.

— Тогда не станем терять времени — оглядываться назад, на Приморье. Будем намечать план боевых действий у нас, на Амуре.

* * *

...Шел январь 1919 года.

Пылали амурские села и деревни. Переполненная до отказа благовещенская тюрьма не вмещала жертв произвола. Рос и ширился с каждым днем грозный вал народного гнева. Уйдя в подполье и набирая силы для решительного удара, амурские большевики исподволь готовили народ к восстанию.

Утонув по пояс в снегу, в тяжелых снеговых шапках,

зимуют на полях суслоны хлеба. А ведь не было еще такого в этих краях, чтобы, убрав золотую пшеницу, забыли ее обмолотить. Пусто на токах и в клунях. Застыли на амбарах пугающих размеров замки — не повернуть в них ключа.

Стукнет у колодца бадья, промелькнет с коромыслом на плечах закутанная до бровей шалью статная женская фигура — и снова тихо и на широкой улице — ни души; только дымок над опрятными, крытыми тесом и железом домами да прижатые изнутри к оконным стеклам носы ребятшек.

Но вот на улицах села появились группы странных, нездешнего вида людей, в теплых шинелях и козьих шубах, с суконными перевязями на лицах...

Так заканчивался в Мазанове старый год и начинался новый, так шла его первая неделя.

А в конце недели в селе началось восстание. К мазановцам присоединились жители окрестных сел. Восставшими руководили люди, связанные с подпольным областным комитетом партии большевиков.

При первом же столкновении с повстанцами японцы потеряли около ста человек убитыми. Остатки разгромленного японского отряда бежали в город Свободный. В Мазанове была восстановлена Советская власть. Но просуществовала она только два дня. На третий день в селе появился карательный отряд японцев. Повстанцы, их было около тысячи человек, были вынуждены отступить в село Сохатино. Ворвавшиеся в Мазаново каратели перебили стариков, женщин и детей из семей повстанцев и сожгли их дома...

В эти дни погибли председатель революционного штаба Кулинич и его секретарь Новиков.

Мазановское восстание было подавлено 9 января. А на следующий день в село Ильиновку съехались подпольные работники Зазейского района.

Последним на съезде взял слово высокий чернобородый человек, и многим тогда врезались в память его слова:

— Пришло время объединяться. Настало время дать золотопогонникам и интервентам такой отпор, чтобы они почувствовали и мощь нашего народа, и волю его к победе. В трудных условиях поднимаемся мы на борьбу, товарищи, и дисциплина у нас должна быть железная. Каждый вступивший в наши ряды обязан спросить себя, сможет ли он быть верным до конца, не боится ли глянуть смерти в гла-

за. Партизанская война... Это значит, что у нас не будет тыла: фронт впереди, фронт позади. Наш лозунг — вся власть Советам!

Таким увидели впервые Генриха Дрогошевского приамурские партизаны, таким и запомнили его.

Через неделю после съезда партизаны впервые столкнулись с интервентами у деревни Черновской и приняли неравный бой.

19 января на областном съезде рабочих и крестьян, в селе Красный Яр, Федор Никанорович Мухин сообщил, что благовещенские рабочие готовы к восстанию и твердо рассчитывают на поддержку крестьян.

Съезд избрал областной военно-революционный штаб, в который вошли товарищи Патрушев, Бородавкин, Безродных, Лашкевич, Лавриненко и другие.

Вскоре партизаны вместе с делегатами съезда двинулись из Красного Яра на Борисоглебку, Лазаревку, Андреевку, ликвидируя белую милицию и привлекая в свои ряды крестьянскую молодежь.

В эти же дни партизанский отряд под руководством Ильи Безродных у деревни Кутилово вступил в бой с хорошо вооруженным японским отрядом. Потеряв несколько человек убитыми, партизаны отступили в Андреевку. Здесь было принято решение: на пути следования японского отряда, в небольшой роще у Виноградовских заимок, устроить засаду.

Вечером 3-го февраля Мухин выехал из Андреевки в Благовещенск.

В ту же тихую звездную ночь по скованной крепким морозом дороге уходили из Андреевки первые партизанские роты. «Большинство партизан было вооружено самым разнокалиберным оружием, — рассказывает об этом переходе один из его участников. — Здесь можно было найти оружие всех наций и всех периодов, начиная от крымской войны и до наших дней включительно: трехлинейки, берданы, игольчатки, штуцера, немецкие и австрийские винтовки, японские «арисака» обоих выпусков, винтерли, винчестеры, маузеры и бесконечный ряд других каких угодно систем винтовок и револьверов до дробовых ружей, с приготовленными к ним свинцовыми орехами в сто граммов весом, включительно».

Скрипели полозья саней растянувшегося на несколько километров обоза. Заиндевелые лошаденки добросовестно

шагали в подернутую морозной дымкой даль. Перебрасываясь шутками, бежала рядом с ними не нюхавшая пороху молодежь, бородачи сосредоточенно дымили цыгарками.

Вот, наконец, и Виноградовские займки, и пылающий в печах огонь, к которому можно протянуть иззябшие на тридцатиградусном морозе руки. Утомленная трудным переходом молодежь завалилась на отдых. Люди бывалые тщательно чинили снятую с натруженных ног обувь.

Розовый отблеск восхода лежал на снежной равнине, когда черными точками замелькали по ней конные разведчики. Боевая тревога разом нарушила мирное течение зарождавшегося дня:

— Стройся!

Быстро построились подразделения и, подчиняясь негромкой команде, залегли в укрытиях.

Первым со стороны Андреевки вылетел японский разезд. Сдерживая коней, японцы внимательно просматривали местность, держались уверенно.

В это время со стороны Виноградовских займок грянул одинокий выстрел. Японская разведка повернула обратно. Несколько посланных вдогонку выстрелов окончательно демаскировали партизан. Все же в первые часы боя казалось, что перевес будет на их стороне. По свидетельству одного из участников этого боя, «редкая повстанческая пуля проходила мимо цели».

Но ожидавшееся из Ивановки подкрепление запаздывало, и, расстреляв все патроны, партизаны были вынуждены отступить.

Ночью, измученные до предела, они двинулись в Ивановку. Над оставшимися позади Виноградовскими займками взметнулось багровое пламя.

В эти дни в повстанческую армию прибыл Генрих Дрогошевский. Он предъявил мандат, подписанный Ф. Н. Мухиным. Дрогошевскому поручалось объединить под своим командованием первый (по левому берегу Зеи до Мазанова) и второй (от Бочкарева до Бурей) партизанские районы и вести боевые действия.

Анновка... Ерковцы... Березовка... Москвитино...

Под боевые знамена повстанческой армии вставали сотни и тысячи бойцов. Дрогошевский принял решение вступить в бой только с небольшими отрядами противника, чтобы постепенно обеспечить людей оружием и боеприпасами за счет врага, обучить их боевым действиям.

Вести о стихийно растущей народной армии тревожили интервентов. Они решили зажать ее в кольцо и уничтожить.

Из Благовещенска на Ивановку был двинут трехтысячный отряд японцев. Такой же отряд шел из Завитой через Песчано-Озерское на Анновку. Третий японский отряд, приближавшийся к Ивановке, и обосновавшаяся в Александровке большая японо-казачья застава создали серьезную угрозу повстанцам.

Штаб армии Дрогосhevского решил выходить из окружения через Андреевку, минуя вражеские заслоны. В пути к повстанцам примкнуло несколько разрозненных отрядов, имеющих пулеметы и небольшую пушку-«траншейку». Армия держала путь на Малую Перу, Чудиновку и Нижне-Бузули, откуда можно было идти в любом направлении.

В середине февраля в Малой Пере произошло слияние первого и второго партизанских районов под единым командованием Дрогосhevского. На это потребовалось время, и рядовые бойцы, расквартировавшись у крестьян, имели полную возможность отдохнуть.

Но пристально следившие за продвижением повстанческой армии японцы высадили на разъездах Черновском и Юхте несколько эшелонов своих войск, часть их перебросили в Чудиновку, закрыв для повстанцев единственный свободный путь. Узнав об этом маневре, восьмитысячная армия повстанцев двинулась на Чудиновку.

Труден был ночной переход через речку Перу. У Перы причудливый нрав и извечные капризы. В ту ночь ей вздумалось дать глубокую наледь, над которой густыми клубами поднимался туман. Обувь идущих вброд бойцов быстро намокла, многие получили здесь тяжкие, неизлечимые недуги.

Засевшие в сопках неподалеку от Чудиновки японцы встретили повстанцев пулеметным огнем. Повстанцы быстро оцепили сопки. Под прикрытием тумана, без одинокого выстрела, ориентируясь на беспорядочную трескотню японских винтовок, они поднимались вверх по склонам. И только окружив японцев, открыли ответный огонь.

За три часа этого боя повстанцы полностью уничтожили японский отряд в четыреста человек и захватили богатые трофеи: пулеметы, винтовки, много патронов, медикаментов и обмундирования.

В это время разведка донесла: на разъезде Юхте высадился полуторатысячный отряд японцев.

Свежие силы японцев двинулись в наступление. Дрогошевский также отдал приказ идти вперед. Двигаясь в густом тумане, повстанцы окружили японцев. Но после нескольких часов упорного боя японцы прорвались в Чудиновку. Здесь они перебили размещенных в школе раненых и обмороженных партизан и завладели частью обоза.

В это же время бойцы армии Дрогошевского случайно обнаружили японскую батарею и захватили ее. Захваченные орудия и свои пулеметы повстанцы повернули в сторону Черновского разъезда, на который прибыл еще один японский отряд. Вскоре загорелись расположенные справа и слева от разъезда мосты.

Не ожидавшие такого приема японцы приказали машинисту дать полный ход и направить состав через горящий мост. Но машинист выполнил только первую часть приказа: дав задний ход, он спрыгнул с паровоза. А никем не управляемый состав, проскочив горящий мост, рухнул под откос...

Повстанческая армия приближалась уже к Желтоярову, когда были получены сведения о движении крупных японских соединений из Мазанова и Свободного. Измученным непрерывными боями повстанцам был необходим отдых. Дрогошевский повел их на Сосновый Бор, оттуда — во Фроловку.

Здесь штаб армии получил предложение принять мирную меньшевистско-эсеровскую делегацию. Глава этой делегации предъявил следующие требования:

«...Повстанческая армия сложит свое оружие и разойдется по домам, в ответ на это мероприятие японское командование не станет преследовать ее бывших командиров и бойцов. В случае же отказа повстанцев от предложений японского командования семьи партизан будут подвергнуты репрессиям, имущество их будет конфисковано, а села, где происходили бои, сожжены».

Возмущенный наглостью японских прислужников, Василий Аксенов, организатор Красной Гвардии на Амуре, гневно спросил:

— Как могли вы, меньшевики и эсеры, утратить стыд и совесть до такой степени, что выступаете с приказами японского командования?

Его поддержали другие члены штаба: Бородавкин, Кургузов, Кремез, Осипов.

— Передайте своим хозяевам, — сказал Дрогошев-

ский, — что мы не сложим оружия и будем беспощадно бить и интервентов, и их прислужников. Так велит нам наш долг и наша пролетарская совесть.

...От боя к бою шла армия Дрогошевского, мужественно перенося голод, холод, бессонные ночи...

В Павловке выяснилось, что японцы стянули сюда крупные силы и повстанцы окружены чуть ли не со всех сторон. Нужно было без промедления решать: принять бой или отступить. Дрогошевский собрал партизан у школы и обратился к ним с речью:

— Товарищи, стратегическое положение наше в данный момент неблагоприятно. Перед нами лежит открытая местность. Я считаю, что лучше воздержаться от боя.

Повстанцы заволновались. Особенно шумела молодежь. Армия Дрогошевского не знала поражений — и вдруг такое решение! Большинство и думать не хотело об отступлении.

Штаб армии решил дать бой.

Вставало солнце, когда расположившаяся на колокольне группа партизан сообщила, что со стороны Бочкарева движется головная колонна японцев. Подойдя к небольшому холму, японцы развернулись и пошли в атаку. Подпустив их на близкое расстояние, повстанцы ударили из шести пулеметов и одну за другой скосили четыре вражеские цепи, но из-за холма выдвигались все новые и новые. Казалось, им не будет конца.

В разгар боя несколько снарядов попало в японский обоз, испуганные лошади, дико заржав, бросились врассыпную, три груженные снарядами подводы попали в руки повстанцев.

Однако вскоре под натиском превосходящих сил врага правый фланг начал отступать.

В это время был ранен командир седьмой роты Пасюков. Иван Штехман бросился на выручку командиру, но, раненный осколком снаряда, упал в снег. Дрогошевский приказал вывезти бойца и командира за линию огня. К ним подлетели запряженные парой лошадей сани, но когда возница наклонился к раненым, две пущенные японцами пули сразили наповал и его, и пристяжную лошадь.

Зажимая рукой рану, Пасюков успел крикнуть:

— Товарищи, не сдавайтесь!

Он был зарублен японцами, преследовавшими повстанцев.

Бой у павловского кладбища, начавшийся ранним февральским утром, закончился только к ночи. В этом бою повстанцы понесли тяжелые потери: двести шестнадцать бойцов было убито и около трехсот ранено. Потери японцев исчислялись тысячами.

И, как всегда, ворвавшиеся в Павловку японцы добились расквартированных у крестьян раненых бойцов.

Повстанческая армия отступила на Соколовку.

Круглая... Верхне-Белая... Песчано-Озерское... Чуевка... Михайловка... Райчиха... Отсюда была послана мирная делегация к пярковским казакам, но казаки отказались вести переговоры.

Путь повстанческой армии лежал на Кивдинские угольные копи: предполагалось, что здесь имеются большие запасы снарядов. Но надежды повстанцев не оправдались. Тогда было принято решение идти на Бочкарево.

Расположенный в Екатеринославке японский гарнизон, узнав о приближении армии Дрогошевского, бежал, не решаясь принять бой; но японское командование направило из Бочкарева к Екатеринославке эшелон с вооруженными до зубов солдатами.

Маневровый паровоз, пущенный по приказу Дрогошевского навстречу составу, врезался в него. Уцелевшие при крушении японцы бросились обратно в Бочкарево.

Головной отряд партизан повел наступление на Бочкарево со стороны Возжаевки, Дрогошевский с основными силами — со стороны Свободного.

Незадолго перед боем штаб армии получил сообщение о гибели Федора Никаноровича Мухина, захваченного в Благовещенске интервентами. Горечь утраты вылилась в новые подвиги повстанцев. Часть Бочкарева была занята ими, но японцы засели, как в крепости, в железнодорожном депо и держались там до подхода броневиков.

Партизаны были вынуждены отступить из-за недостатка патронов и полного отсутствия снарядов.

...Белый террор гуляет по области, белый террор захлестнул Благовещенск.

В ночь на 26 марта японцы взяли из благовещенской тюрьмы 18 партийных и советских работников. Только двоим из них удалось бежать, остальные были расстреляны. Интервенты сожгли дотла Круглую, пожарищами отметили

свое пребывание в Черновской, Красном Яре, Павловке, Васильевке, Рождественке, Сохатине...

Измученная непрерывными переходами и отягощенная огромным обозом с больными и ранеными, армия Дрогошевского уже не в силах была предотвратить эти зверства.

29 марта 1919 года в деревне Соколовке состоялось последнее заседание штаба повстанческой армии под председательством Генриха Дрогошевского. Было принято постановление прекратить в области военные действия и распустить народную армию, «за исключением отдельных боевых единиц, которые необходимы для выполнения отдельных боевых функций».

В одном из пунктов этого постановления говорилось:

«Все имеющееся народное имущество распределить по отдельным боевым единицам, за исключением имущества, принадлежащего крестьянам, которое возвращается по принадлежности».

По второму вопросу — «О китайцах, находящихся в народной армии» — было решено:

«Всех товарищей китайцев, находящихся в рядах народной армии, оставить в полном вооруженном состоянии и предоставить все возможные средства передвижения до места их следования в Сибирь, снабдив их всем необходимым».

Решение по третьему вопросу — «О существовании народного штаба» — имело следующую редакцию:

«Народный штаб крестьянско-рабочей армии свои функции продолжает, все боевые единицы подчиняются его распоряжениям».

В тот же день Дрогошевский издал свой последний приказ:

«Приказываю всем командирам отрядов и начальникам команд с получением сего привести в негодность пути сообщения, сжигать переправы и тем всячески задерживать отpravку войск, снаряжения и вооружения и держать противника под угрозой. Этим мы дадим возможность Красной Армии беспрепятственно и победно продвигаться на восток. Каждый командир и боец должен помнить, что всякая задержка, хотя временная как войск, так и вооружения — дают возможность Красной Армии беспрепятственно двигаться вперед. Но теперь, товарищи, к делу».

С двух трехдюймовых пушек сняли замки, спрятали их в надежном месте, а пулеметы и легкие «траншейки» рас-

пределили между остающимися в отрядах и намеревающимися переждать весеннюю распутицу в глубине тайги.

Отряд Емельянова двинулся во второй район. Иванов с группой в 80 человек направился по линии железной дороги. Генрих Дрогошевский с сотней бойцов, обойдя станцию Гондатти, пошел на речку Малый Горбыль.

К моменту прихода в Маргаритовку в отряде Дрогошевского оставалось только одиннадцать человек. Девять из них решили идти в тайгу, а Генрих Дрогошевский с бывшим разведчиком повстанческой армии Георгием Бондаренко решил возвратиться в Приморье.

* * *

26 мая 1919 года на широком плесе Амура, неподалеку от Пашково, белогвардейцы задержали двоих неизвестных. Старший по возрасту предъявил паспорт, выданный Черемховской районной милицией на имя Ивана Васильевича Тимофеева. Младший как несовершеннолетний документов не имел и сказал, что его зовут Георгием Бондаренко.

При личном обыске у «Тимофеева» был обнаружен еще один паспорт, на имя Москаленко, и целый ряд документов, несомненно подлинных, характеризующих задержанного как организатора Красной Гвардии во Владивостоке и командующего повстанческой армией на Амуре — Генриха Станиславовича Дрогошевского. О его принадлежности к РКП(б) свидетельствовал найденный при нем партийный билет.

Генрих Дрогошевский был взят под стражу, а его спутник, по словам Дрогошевского, «мобилизованный в Ивановке в качестве возчика», отпущен.

Дрогошевский был препровожден в город и передан в руки палачей из контрразведки.

...Одиночка № 34.

Узкое, темное помещение, в котором за девять месяцев до того томился нестигаемый большевик, руководитель амурских железнодорожников, Владимир Шимановский. В этих стенах написал он 20 ноября 1918 года, в ночь перед казнью, письмо жене — Марии Шимановской, заключенной в этой же благовещенской тюрьме. В сотнях рукописных экземпляров ходило это письмо в народе, многие хранят его до сих пор.

Шагая по тесному каземату (четыре шага в длину,

три — в ширину), Генрих Дрогошевский искал здесь следы своего предшественника: беглую карандашную отметку, полустершуюся дату. Все было тщетно. Стены недавно побелили.

Одиночка... Если бы можно было здесь остаться наедине со своими мыслями, видеть только рассеченное квадратами решетки небо, голубое днем, в звездной осыпи Млечного пути ночью!..

Но в любой час дня и ночи распахивалась дверь и входили заплечных дел мастера, офицеры контрразведки. Они начинали «снимать дознание» с арестованного.

Тем временем подполковник Лебедев, начальник контрразведывательного пункта, тщательно изучал документы Дрогошевского. Они приоткрывали завесу над деятельностью последнего в Приморье.

...Военный комиссариат исполкома Владивостокского Совета рабочих и солдатских депутатов поручает Генриху Дрогошевскому осмотр, проверку и перевозку в особо значимый пункт всей материальной и технической части, необходимой для формирования батарей и пулеметных команд...

...Начальник Красной Армии Владивостокского гарнизона Дрогошевский назначается заведующим вооружением гарнизона.

...Гродековский фронт. Под красными знаменами дерутся сучанские шахтеры, спасские пчеловоды, железнодорожники и горняки. По указанию командующего фронтом Саковича Дрогошевский едет за пополнением во Владивосток...

Да, в сети контрразведки попала крупная дичь.

Подполковник Лебедев всматривался в фотографию Дрогошевского, наклеенную на одном из документов: красивое, волевое лицо. Правда, теперь оно несколько изменилось, с него сошли живые краски... Но в этом виноват исключительно он сам. Нужно быть поговорчивее.

Настал день, когда подполковник Лебедев, тщательно обдумав в тишине кабинета протоколы допросов, пришел к выводу, что связывать имя Дрогошевского с событиями в Чудиновке, Юхте, Павловке невыгодно: слишком большой урон понесли там «уважаемые союзники» — японцы. Нужно было сгладить острые углы.

В результате появилось постановление № 219 от 3 июня 1919 года, сформулированное следующим образом:

«Из личного допроса Дрогошевского явствует, что он, Дрогошевский, состоял главным командующим фронтом в Амурской области в период весеннего выступления большевиков в селе Ивановке, ст. Бочкарево и Завитой, что из отобранных при нем документов видно, что он был начальником Красной Армии; означенное преступление предусмотрено ст. 108 Уг. Улож., пп. 1 и 2. Обстоятельства дела исследованы с достаточной полнотой, и потому постановил: дознание производством закончить и направить его заведующему Военно-судебной частью при штабе Амурской бригады, копию сего постановления препроводить начальнику контрразведывательного отделения Приамурского Военного округа».

Прошло еще две недели. За это время Дрогошевскому через тюремных надзирателей удалось наладить связь с волей, а его палачам сфабриковать новый документ — приказ № 49 от 18 июня 1919 года.

Генрих Дрогошевский был предан военно-полевому суду «по обвинению его в вооруженном выступлении, начиная с марта м-ца с. г., в Амурской области против существующего Правительства и в вооруженном нападении на войска дружественных союзников-японцев, среди которых были убитые и раненые».

Подсудимый Дрогошевский выслушал приказ № 49 молча. А назавтра о Генрихе Дрогошевском знала вся тюрьма: он сумел выбраться из своей одиночки, но был схвачен внутренней стражей. У стен тюрьмы его ждали. Кто? Этого не смогли выяснить: люди успели скрыться.

Были сменены тюремные надзиратели. На Дрогошевского надели наручники. В них его и судили.

Странно было идти после двадцатипятидневного заключения по тихим улицам, вдыхать запах распускающихся в палисадниках цветов. Ноги были как ватные. Солнце слепило глаза.

Китаец в синем халате из дабы, пружиня шаг, нес на колыбели две круглые корзины с розовым редисом и свежими огурцами. Дама под зонтиком вывела на прогулку пушистого шпица. Собака тявкала и рвалась с цепочки.

Дрогошевский шел, окруженный конвоем, не вызывая ни в ком даже простого любопытства. Видимо, зрелище конвоируемого человека было здесь привычным.

Военно-полевой суд помещался в одном из красивейших зданий города, на берегу Амура. Дрогошевский уже под-

нялся на последнюю ступеньку, когда до него слабо донеслось:

— Геня!

Он вздрогнул, обернулся — и увидел родные, глубоко запавшие глаза. Пересекая пыльную улицу, к нему бежала мать. Он рванулся к ней, но кто-то ткнул его с размаху в спину, и он влетел в пахнущий масляной краской коридор.

Суд скорый, без свидетелей, без защиты, с заранее подготовленным решением.

Генрих Дрогошевский почти не видел своих судей: заходящее солнце било прямо в глаза. Когда оно отступило за каменные стены, в длинном зале стало прохладно и сумрачно. Ветер с Амура шевелил оконные занавески, играл кистями бархатной скатерти. Ворковали голуби. Вся в солнечных бликах, не спеша несла свои воды великая река.

— Приговорен к расстрелу...

Он принял эти слова спокойно. Шел с гордо поднятой головой: пусть никто, даже конвоиры, не подумают, что ему может быть горько и чего-то жаль в эту минуту.

На другой день к нему допустили мать. Пять минут свидания через решетку. Он будет жить еще две недели, но больше к нему не допустят никого. Ночью он опять попытался бежать — и был схвачен в тюремном коридоре. Его заковали в ручные кандалы.

Он весь отдался воспоминаниям. Снова вставал перед его глазами уютный родительский дом в далекой Жмеринке. Снова видел он мрачноватое здание Воронежского железнодорожного технического училища. Странно, его уже тогда неудержимо влекло на Дальний Восток. Он поступил машинистом на Юго-Восточную железную дорогу, чтобы скопить денег и уехать «на край света», во Владивосток. А когда приехал в этот шумный портовый город, то, не задумываясь, определился на первое из взявших его океанское судно.

Он пересекал моря, видел удивительные страны. И через много лет он, незаметно для самого себя, замедлял шаги у витрин магазинов, торгующих «колониальными товарами»: здесь за толстыми стеклами виднелись горы диковинных фруктов, а цветочные корзины напоминали ему затерянные в океанских просторах южные острова.

Но только в Посьете обретал он спокойствие, только остров Аскольда приносил ему тихую радость, только маяк Скреплева светил ярко и надежно, а за ним, как матовая

жемчужина, лежал подернутый туманом Русский остров и отливала голубой эмалью лучшая в мире бухта — Золотой Рог.

...Шел 1905 год.

Вначале казалось, что переусердствовала таможня: моряков торгового флота подвергали постыдным осмотрам — шарили в каютах, раздевали донага, отбирали каждую исписанную бумажку, книгу, изданную за границей, или пестро иллюстрированный журнал. А потом поползли и вскоре подтвердились слухи о массовых расстрелах моряков военных экипажей. К теплым голубым водам бухт Приморья примешалась человеческая кровь.

Он вернулся тогда на Юг. Но и там было неспокойно. Нигде нельзя было устроиться на работу. Случай помог ему уехать в Ново-Николаевск: купцу Веризубову был нужен на фабрику механик.

И все же его тянуло во Владивосток.

Только через четыре года он смог осуществить свою мечту, но с романтикой юношеских лет было покончено. Он имел семью, нужно было устраиваться на берегу. Работы в доках хватало. Но порой вид океанских пароходов будил в нем глухую, неясную тоску. Вот почему он уехал на Суван, вот почему с радостью ухватился за предложенную работу на руднике Тетюхе.

Рудник Тетюхе... Бухта Тетюхе... Тихая гавань...

Дальше... Дальше...

...От зеленоватой воды бухты Золотой Рог веяло прохладой. Узенький серп месяца качался на волнах. Каштановыми косами стлались у самого берега водоросли. Было тихо. Крепко пахло морем.

На лесистом берегу Чуркина мыса в маленьких бревенчатых домиках вспыхнули и побежали веселой цепочкой в синеющую даль первые огоньки; одна за другой проскользнули две легкие шампунки и, оставив за собой светящийся след, затерялись в тени стоящих на рейде пароходов.

Здесь с беспредельной остротой осознал он смысл и значение надвигающихся грозных событий, поднимающегося над страной очистительного тайфуна. Здесь впервые зародились мысли, которые впоследствии привели его к решению, в корне изменившему его жизнь — решению жить и умереть большевиком.

Как хорош приморский октябрь в неумолчном шорохе падающей багряно-желтой листвы, в тяжелых виноградных

гроздьях, в слепящей глаза синеве все еще теплого моря.

А люди не хотят замечать его красот в сизых от папирозного дыма матросских кубриках и сухих доках. Они утверждают свое право на новую, лучшую жизнь...

Генрих Дрогошевский вскочил, зашагал по тесной камере. Он совершил большую, непоправимую ошибку, решив вернуться в Приморье. Но мог ли он поступить иначе, если сердце звало туда, где вновь развевались знамена Красной Гвардии, созданной год тому назад им, Генрихом Дрогошевским?

Он застонал от непереносимой душевной боли. Стал в сотый раз обдумывать способ побега. А стены тюрьмы давили, и голос рассудка шептал, что это конец.

7-го июля, днем, Генриха Дрогошевского перевели в камеру, где находилось еще четыре смертника. Ночью из этой же камеры он был выведен на казнь.

Дрогошевский попросил дать ему лошадь. Шестеро пьяных офицеров сочли возможным исполнить его просьбу. Когда лошадь была подана, бывшего командующего повстанческой армией посадили на нее и привязали к седлу.

Осужденных привезли на военное кладбище, где маячили две человеческие фигуры — сторожа и тюремного священника. Спешившись у вырытой могилы, офицеры отвязали Дрогошевского и подвели к березе. Он отдал священнику наспех написанную записку с просьбой передать ее жене.

— Стой прямо! — крикнул один из офицеров. — Стой прямо перед старшим по чину, солдат!

Офицер наотмашь ударил саблей. Береза зашелестела листвой, будто пугаясь крови, брызнувшей на ее кору...

Еще и после того, как тело соскользнуло к их ногам, белогвардейцы продолжали рубить его, потом ногами столкнули на дно ямы и ускакали.

Трудный путь командарма повстанческой армии был окончен, но борьба за правду на щедро политых кровью полях Приамурья продолжалась. Партизаны не сложили оружия: один за другим создавались легкие кавалерийские отряды. Это был новый этап борьбы, который позднее, в 1920 году, привел к полной победе.

Георгий Бондаренко

Томившиеся от безделья реалисты громко выражали свое недовольство:

— Только подумайте, господа! Развертываются такие события, а нас заперли в четырех стенах!

Досадливо передернув широкими плечами, Георгий Бондаренко подошел к окну и стал глядеть на грязновато-серую улицу.

Мысли юноши были беспокойны: «Знают ли в Ивановке о перевороте? Если бы можно было очутиться там или дома, на хуторе Привольном!

А зачем? Спросить совета у дядей, у отца? Какие тут могут быть советы! Нужно поступать так, как подсказывает совесть...»

— Господа, Гамов! — крикнул кто-то.

Только вчера Гамов, наказной атаман Амурского казачьего войска, арестовал исполком Совета, объявил Советскую власть в Амурской области низложенной, а себя провозгласил главой «войскового правительства». Но положение нового правительства было шатким: вооруженных сил революции Гамову ликвидировать не удалось, рабочие и матросы организованно отступили в деревню Астрахановку, там стали собираться вооруженные силы для ликвидации мятежа.

Сегодня с утра атамана ждали в реальном. Гамов хотел лично провести мобилизацию реалистов в «отряды самообороны».

Возле училища Гамов осадил коня, не спеша поднялся на крыльцо.

Бородатый швейцар распахнул дверь и, низко кланяясь, пропустил атамана в темноватый вестибюль.

В вестибюле толпились пожилые представительные господа.

«Ждали», — с удовлетворением подумал Гамов.

Один из этих господ, плотный, лысеющий, почтительно заговорил:

— Наши питомцы, атаман, ждут вас с нетерпением. Позвольте вашу бекешу, атаман.

Бросив швейцару на руки бекешу, Гамов взбежал на второй этаж, где находился актовый зал.

Солнце било в высокие окна зала. Щуря глаза, атаман скинул плотные ряды реалистов быстрым, оценивающим взглядом, и громко, как на смотре, произнес слова приветствия.

Ему ответили дружно, непринужденно.

Лысеющий господин обратился к реалистам:

— Дорогие юноши! Нам выпала великая честь приветствовать в этих стенах героя. Наказной казачий атаман Иван Михайлович Гамов свергнул противозаконную и богопротивную власть большевиков. Да поможет ему бог довести начатое дело до конца. Да помогут ему все те, в ком бьется сердце патриота. Выслушаем же с почтительным вниманием нашего гостя.

Гамов шагнул вперед и начал на самых низких нотах:

— Милые дети и дорогие юноши! Век наш — век мрачного пессимизма. У современного передового человека нет ни счастливых грез, ни веры в высокое. Его оставили идеально-чистые мечты, которые вели великих людей к славе бессмертных подвигов...

В задних рядах реалистов прошло легкое движение.

— А между тем, — в глазах Гамова блеснуло пламя искусственного восторга, как опытный актер, он сделал шаг вперед, и голос его загремел: — Именно сейчас, в наши дни, когда взбунтовавшаяся чернь пытается сокрушить многовековые достижения человеческого разума, когда все, во что мы верили и чему поклонялись, предается огню и мечу...

Атаман, казалось, задыхался. Он поднял руку к горлу и неожиданно... чихнул.

Малыши звонко рассмеялись, сведя на нет торжественность минуты.

Гамов побагровел, но тотчас же овладел собой, скрестил

на груди руки и окинул задние ряды испытующим взором.

Нет, эти не смеялись.

— Верьте мне, нет ничего превыше, чем отдать жизнь за Россию, — сказал он проникновенно, и добавил: — Родина-мать позвала вас, что ответите вы, избранные ею?

Задние ряды реалистов дрогнули, раздался прерывистый шепот.

Высокий, упитанный юноша шагнул вперед и неожиданно закричал:

— Дорогой атаман! Разве можем мы быть не с вами? Берите наши жизни, атаман! Мы бросаем их на алтарь отечества! Долг и совесть! Мы...

— Дурак! Трепло!

Кудрявый реалист с пылающим гневом глазами оттер его плечом.

— Болтаешь тут, запроедаешь наши жизни! Парламентер... черт тебя...

— Вы с ума сошли, Бондаренко! — визгливо крикнул лысеющий господин. — Приказываю замолчать!

Юноша усмехнулся.

— Я поступил сюда из высшеначального. А там учатся дети тех, кого здесь только что называли чернью.

— Замолчите, — простонал инспектор, — прошу вас...

— Продолжайте, — вкрадчиво поощрил Гамов, — мы слушаем очень внимательно...

— Что ж, слушайте. Вы, кажется, учитель, господин Гамбв? — спросил Бондаренко, взглянув на атамана в упор большими серыми глазами.

— Да я учитель... в прошлом... Но что из этого следует, мой юный друг? — поинтересовался Гамов.

— Вы должны бы знать: те, кого вы именуете чернью, называются еще и по-другому.

— Как? Может вы подскажите, — иронически прищурился атаман.

— Народом! — крикнул вдруг Бондаренко. — Слышите — народом!

Гамов покосился на распахнутую в коридор дверь — казак не было видно. «Черт бы вас побрал», — с раздражением подумал Гамов, и опять обернулся к юноше. Тот как будто ждал этого взгляда — кинулся к дверям, озорно бросив уже на ходу:

— До встречи, атаман, на поле бранном...

— Взять! — крикнул Гамов. — Немедленно взять! Слышите?!

Он выскочил в коридор, из дальнего конца которого бежали привлеченные шумом казаки, и разразился неистовой бранью. Казаки, гремя сапогами по железу и обнажая на бегу шашки, сыпались вниз.

Гамов, ни с кем не прощаясь, спустился вслед за ними.

— Где они? — отрывисто спросил он у ординарца.

— Да вон идут, — ответил ординарец и кивнул в сторону Торговой улицы, откуда приближались казаки.

— Так что убег, — доложил Гамову старший.

— Проворонили! — скривил презрительно рот атаман и вскочил на коня. — Столько здоровых болванов — и с мальчишкой не справились.

— А он, паря-зараза, бравый, — неожиданно восхитился один из казаков. — Добег до чуринского оптового — и через забор! Ну, мы то-се... Покуда достучались, покуда сторож открыл...

— Остолопы! — Гамов вытянул нагайкой ни в чем неповинного коня. — Спиртоносы... Сволочи!..

Цокот копыт заглушил брань взбешенного атамана.

* * *

Пока казаки громыхали железным кольцом калитки, а затем вели переговоры со сторожем, юноша пересек огромное подворье, открыл другую, выходящую на Торговую улицу, калитку — и через минуту-другую был уже на Вознесенской площади. Здесь свободно гулял ветер.

Георгий основательно продрог. «И шинель и фуражку оставил там», — подумал он с сожалением.

Квартал за кварталом оставался позади. В окруженных палисадниками бревенчатых домах были наглухо закрыты ставни — попробуй достучись... Георгий почти обрадовался, выйдя на огромный пустырь.

Справа возвышались белое здание духовной семинарии и кирпичная громада недостроенного собора, слева широко раскинулись обнесенные заборами смешанные рощи. Среди них как-то затерялись здания метеорологического бюро и лесничества.

Георгий толкнул калитку, вошел во двор метеорологического бюро и по протоптанной в снегу тропке спустился во двор лесничества.

Замелькали квадраты делянок с елками и пихтами, пушистыми сосенками и молодыми кедрами.

Миновав огромную лиственницу, маскировавшую вход в приземистое строение, Георгий нажал плечом на еле приметную дверь и, пригнув голову, шагнул через порог.

В темноватом помещении было тепло и тихо.

Перед открытой дверцей печки сидел на корточках человек и выбирал из ее пышущего жаром нутра крупные золотисто-коричневые картофелины. Он повернул голову на стук открывшейся двери. Красный отблеск догоравших углей упал на щеку, белые кустистые брови и такие же белые, опущенные книзу, как у запорожца, усы.

— Да никак Егорка? — сказал человек, узнав гостя. — Очень кстати. Садись, будем обедать.

— Спасибо...

Георгий прислонился к дверному косяку.

— Мне нужен дядя Василий. Вы не знаете, где он сейчас?

— Зачем тебе Василий Степанович?

— Так... Очень нужен. Я не обманываю, Станиславич!

— Говори толком. И почему ты раздет?

Шагая из угла в угол, Георгий рассказал о своей стычке с Гамовым. Высказал предположение, что его уже ищут. Старик покачал головой.

— Молодо-зелено! Тебе могли свернуть голову, как цыпленку.

— Не свернули же, — Георгий засмеялся. — Я, как колобок, и от атамана ушел, и от казаков ушел.

— Кажется, стреляют? — Станиславич прислушался.

Будто в подтверждение его слов, ухнул орудийный выстрел. Стекла в оконце задребезжали.

— Слышишь? Вот там твой дядя Василий, — сказал старик убежденно, — там, где стреляют.

— Я пойду, — встрепенулся Георгий, — найду его.

— погоди.

Старик снял с гвоздя пиджак и беличью шапку.

— На-ка вот.

— Что вы, Станиславич!

— Бери, бери...

Старик стал намазывать хлеб медом.

— Дай-ка мне газету, — кивнул он на стоявший за печкой стол. Георгий шагнул туда и увидел небольшую фотографию в самодельной резной рамке.

Густой ежик волос, темные пытливые глаза, якоря на уголках воротника.

— Кто это? — спросил Георгий.

— Это Дрогошевский. Мы плавали вместе. Сейчас он во Владивостоке, — ответил Станиславич, засовывая Георгию в карман завернутый в газету хлеб, и добавил: — Заметь — мир становится тесным. Хорошие люди ищут и находят друг друга.

Добротный пиджак Станиславича оказался Георгию не совсем впору. От быстрой ходьбы стало жарко, пришлось пиджак распахнуть, а потом и вовсе скинуть и понести в руках. «Нужно зайти переодеться, — решил Георгий. — Уж если началось, едва ли ждет меня засада... Я птаха мелкая...»

Он свернул за угол и сразу же увидел опрятный зеленый домик, где жил «на хлебах» у гостеприимных стариков Нагорных.

...Георгий прошел в свою комнату. Только успел он надеть черную просторную рубаху и такие же брюки, как пришел дядя Василий, возбужденный, сияющий.

Усевшись на венский, единственный в комнате, стул и давясь от смеха, он стал рассказывать о командире астрахановской разведки матросе Душкине и грузчике Иннокентии Койденко.

— Понимаешь, здоровенный такой грузчик и, по всему виду, хозяйственный мужик... Разведку они провели честь-честью. А на обратном пути завернули зачем-то на городскую бойню. Приглядели там телефон. Сняли. Пригодится, мол, чтобы наладить связь с флотилией. Тут кто-то из начальства было заартачился, а они ему: «Вот чудак, твое благородие, мы не просто берем, а конфискуем. Вот тебе расписка».

Он им в ответ: «Мне ваша расписка — что мертвому припарки, мне самому телефон нужен». А они уже приглядели автомобиль и суют ему вторую расписку. Он и тут артачиться, а Койденко как рявкнет:

— Для нужд революции!

Тот так и присел. Ладно, говорит, берите, как-нибудь обойдусь.

Койденко совсем разошелся и говорит: «Вижу, господин ты добрый, только нам порожняя машина, ни к чему. Нужно доверху нагрузить ее мясом. Будь добр, распорядись».

— Распорядился? — сияя глазами, спросил Георгий.

— Еще как! — Василий Бондаренко достал папиросы и закурил. — Еще как! Ладно, говорит, берите мясо. Только мне расписку дайте. Ну, а наши разведчики положили в автомобиль четырех связанных свиней, впряглись и потащили провиант в Астрахановку, управлять-то автомобилем ни один не умеет.

Когда старший Бондаренко собрался уходить, Георгий решительно заявил:

— Дядя, я с тобой!

— Что ж, не посрами бондаренковский род.

— Ну, как наши? — поинтересовался младший, когда они вышли на улицу.

— Да не хуже людей. Я ведь к тебе гонцом: отец-то твой в Астрахановке.

— Батька! — обрадовался Георгий. — Тоже воюет?

— Не совсем. Терентий Степанович — интендантская косточка: обоз с продуктами привел. Тридцать подвод. Наших коней пара. А Терентий от коней никуда!

— А какие лошади, дядя?

— Буйный да Артист!

— Так... А где дяди — Иван, Володя, Петя?

— Где же им быть? Тут в городе. Всей семьей воюем.

— А как вы узнали, что у нас мятеж?

— Э, милоч, благовещенские большевики не растерялись: обратились с воззванием к населению области — «...товарищи крестьяне, помогайте рабочим и матросам».

Только воззвание в Ивановку пришло — ударили в набат. Собрался сход, и все мы без лишних слов решили: восстановить в Благовещенске Советскую власть, выслать на фронт две тысячи триста человек и тридцать подвод с продуктами.

Порешили — и сделали! Вот как мы, ивановцы, — знай наших!

* * *

Вдоль накатанной и припорошенной снежком дороги громоздились синие глыбы льда.

Лошадь ступила на поросший тальником остров и без понуканий перешла на резвую рысь. С тальника посыпалась изморозь, вспыхнула звездочками на темном крупе лошади. Георгий облегченно вздохнул, поднял воротник

полушубка. Мерный бег лошади и скрип полозьев навевали дремоту.

...Вставали перед глазами яркий, осыпанный первой осенней позолотой день, шаткая, до отказа забитая людьми палуба парохода.

Дядя Василий стоит у самых сходен. Он стоит с обнаженной головой, летящий вдоль реки ветер треплет его седые волосы и далеко разносит слова прощального привета тем, кто остается на берегу.

Но вот пароход медленно отодвигается от причала, разворачивается и ложится в фарватер.

Оставшиеся на берегу стоят молча. Слезы застилают им глаза, и никто не стыдится этих слез. Их сушит осенний ветер и ненависть, вспыхнувшая в глубине людских сердец.

Дядя Василий уехал, а он остался. Он не стал дожидаться, когда в город переберутся засевшие в Сахалине белогвардейцы, обосновался в Ивановке, у деда Степана.

Большой и уютный дедовский дом, где и после выделения старшего сына саживалось за стол двадцать человек, казалось, опустел. Дед безмолвно смирился с тем, что женатые сыновья «ударилась в бега», а невестки с оравой ребятшек перебрались на заимку. Он все чаще теперь сидел на терраске, обхватив руками худые колени.

Бабка, как и прежде, хлопотала по хозяйству: стряпала, мыла, стирала, выносила на солнцепек пухлые перины, вооружив внука решетом, посылала его в сад, сбегаящий к речке Маньчжурке, обрывать заалевшие ранетки.

Георгий спускался на берег и подолгу смотрел на высокую плотину, прислушивался к неумолчному мельничному гулу.

У мельницы, под длинным навесом, стояли вереницы подвод: к дяде Безрукову везли пшеницу из многих сел и деревень, мельник радовался, что установилась «настоящая власть», с которой он быстро договорился. Односельчане и родственники обходили его богатое подворье. Не пришел на поклон и вернувшийся из города племянник.

...На сельском сходе ивановцам предложили сдать оружие и выдать красных.

Ивановцы не выдали никого.

Тогда белоказак обстреляли село. А через три дня после схода здесь организовалась белогвардейская контрразведка. Начались пытки и допросы, которыми руководил человек, носивший странную кличку — «Дикий барин».

Каратели стреляли у церкви по увечным нищим, истязали на глазах учеников учительницу — Надежду Васильевну Гаврилову, избили ее брата, тоже учителя. Потом они расстреляли на заимке, принадлежащей Макару Юрченко, Григория Воронова, Александра Максимова и троих рабочих ремонтных мастерских. А на заимке Петра Гуляева были расстреляны Жуков, Михайлов и Якушев.

...Георгий не особенно ясно представлял тогда, какой сложной и напряженной была обстановка на Дальнем Востоке осенью 1918 года.

Японцы и белочехи, американцы и отборные головорезы атамана Калмыкова теснили советские войска в Приморье. Красные с боями отступали к Хабаровску.

И в то самое время, когда в осажденном Хабаровске открылся V краевой съезд трудящихся Дальнего Востока под председательством Ф. Н. Мухина, красные войска, теснимые чехами и семеновцами, оставили Читу. Забайкальский облизполком приступил к эвакуации советских учреждений и войск в Амурскую область. Но и здесь было неспокойно: в пограничных станицах то и дело вспыхивали мятежи. Богатое казачество об руку с интервентами деятельно готовилось к разгрому Советской власти.

В первых числах сентября в Амурскую область начали отступать истерзанные непрерывными боями части Красной Армии из Хабаровска. С ними прибыл и организатор Красной Гвардии во Владивостоке Генрих Дрогошевский. Связавшись в Благовещенске с руководителем амурских большевиков Ф. Н. Мухиным и получив от него указания, Дрогошевский выехал в Ивановский район.

Здесь в начале зимы и встретил его Георгий. Они быстро нашли общий язык.

— Будешь разведчиком, — сказал Дрогошевский и, подумав, добавил: — Хорошим.

— Попытаюсь, — ответил тогда Георгий. — Постараюсь... Буду.

...Он вздрогнул и, открыв глаза, понял, что задремал. Неподалеку виднелись обесцвеченные временем жерди деревенской поскотины. От нее в намет скакал всадник. Дальше по снежному полю медленно ползли навьюченные сеном сани.

Георгий придержал лошадь. Подскакавший к нему парень в заплатанном полушубке сказал, радуясь и сердясь в одно и тоже время:

— Гошка! Где тебя черти носили? Мы тут с пяти угра дрожим.

— У японцев гостевал.

— Ну, брось ты эти шутки.

— Верно говорю. Выехал я как положено, да пришлось к Белогорскому мосту крюк дать.

— Задержали?

— Да нет... Не совсем по доброй воле, но и отказаться было нельзя: подвезти пришлось японцев.

В это время рядом остановились сани.

— Здорово! — приветствовал их сидевший на возу крепкий, широкоскулый крестьянин и спрыгнул на землю.

— Здравствуй, Семен, — ответил разведчик. — Вот Николай ругается, что я опоздал.

— И следует... Листовки-то хоть привез?

— Спрашиваешь... — Георгий вытащил из кошевки чемодан. — Вот, получите.

— Ты бы хоть объяснил, что в нем такое содержится, — сказал Семен, тщательно заделывая чемодан в воз с сеном, — или сам не знаешь?

— Как же ему не знать? — возразил подобревший Николай. — Он, наверное, сам и печатал...

— И сам, и другие помогали, — ответил Георгий. — А ваша задача — срочно доставить этот журнал по назначению.

— Журнал? — протянул разочарованно Семен. — А я думал — воззвания. Что же это за журнал такой?

Георгий негромко ответил:

— Объединенного заседания представителей Маркучинского волостного, Маркучинского сельского, Малоперского и главного штабов. Я, пока печатали, выучил его наизусть. И вам советую сделать то же.

— Наизусть? — усомнился Семен. — Наизусть? А ну, скажи хоть два слова.

Серые глаза Георгия вспыхнули. Он прикрыл их ресницами и, слегка волнуясь, без запинки процитировал листовку.

— Ну и голова у тебя, парень! — восхитился Семен. — Куда теперь путь держишь?

— В Петропавловку... А потом... видно будет, — Георгий подобрал вожжи. — До свидания. Но-о, Иркутянка...

— Постой, постой, — остановил его Семен. — В Богородское не собираешься?

— А что?

Крестьянин поколебался, потом, видимо, решившись, спросил:

— Вы ведь с Матыциными в родстве?

— Дяди Владимира жена из их дома. А что? Привет передать?

— Что ж, и привет. Только тут такое передать надо... Такое...

— Да что? — встревожился Георгий. — Говори...

— Ты Алексея Алексеевича знаешь?

— Еще бы! Учитель мой первый.

— Нет его больше в живых.

— Да ты что?!

— Вчера застрелили его японцы. Пришли в школу, а у него как раз урок был. Избили его при ребятишках зверски, а потом вывели на берег Маньчжурки, чуток повыше вашего двора, и расстреляли. В Богородском будешь, скажи отцу его: героем умер сын. Да домой, в Ивановку, не вздумай заезжать: постой у вас японский.

— Спасибо... за недобрые вести.

Георгий сильно стегнул лошадь. Застоявшаяся Иркутянка рванула с места.

...Возле Белогорки Георгий облюбывал небольшой лесок — укрытие. Доложил Дрогосhevскому.

Четыреста японцев уничтожили партизаны в бою под Белогоркой...

...Чудиновский бой. Юхтинский... Станция Буря... К западу от станции пылают подожженные партизанами железнодорожные мосты. Девятнадцать мостов! Далеко видно зарево пожарищ.

Но вот зарево охватило полнеба в противоположной стороне... Это запылала Ивановка.

В тот день утро было по-весеннему солнечное. Безмятежно голубело небо. Был праздник Сорока святых великомучеников. Люди шли в церковь. Степенно шествовали старики и старухи. Бежали принарядившиеся девчата, звонкоголосая детвора.

Служба была в разгаре, когда что-то со свистом пронеслось над церковью, тяжело грохнуло на ледяную гладь озера и разметало острые осколки льда. В зияющей пробоине вспенилась вода.

— Никак стреляют! — подивился вслух Аким Кирей, бывший участник русско-японской войны, и, почуяв нелад-

ное, стал пробираться к выходу. За ним кинулись старики и молодые, в дверях началась давка.

В селе загорелось несколько домов. Перепуганные жители бросились к заимкам, но подошедший из Дмитриевки отряд японских солдат уже окружил Ивановку. Артиллерия была по селу, кавалеристы рубили саблями тех, кто пытался спастись. В разных концах Ивановки вспыхивали все новые и новые дома.

Только к двум часам дня прекратился орудийный обстрел.

В село входил карательный отряд.

Началась дикая расправа: японцы и казаки врываются в дома и убивали ни в чем неповинных мирных жителей.

Кому причинили зло старичок Неня, сточетырехлетний Андрей Баринов, убитая в доме Хмелева молодая женщина с грудным ребенком на руках? Ребенка успел подхватить молодой парень, ее деверь. У кого поднялась рука, чтобы заколоть их? Дмитрий Макаренко, отец одиннадцати детей, поставил перед собой двух близнецов.

— Я не воевал с вами и не буду. Мне нужно кормить ребятишек.

Он был убит наповал.

В восточной части села японцы согнали на усадьбу Мысака пятьдесят мужчин. Восемнадцать из них они расстреляли, а тридцать два живыми сожгли в сарае.

На берегу речки Будунды ивановцы сумели сберечь чудесную березовую рощу. Живя в безлесной амурской степи, они топили печи соломой, ездили за десятки верст, чтобы купить дровишек, и строго наказывали детей за каждую сломанную ветку.

Сюда, на сбегавшую к речке солнечную полянку, согнали японцы около двухсот мужчин. Их поставили на колени в таявший под весенним солнцем снежок и расстреляли из пулемета.

Старика Бамбуру казаки отвезли на заимку Хмелева, зверски пытали и сожгли живым.

Молодую жену партизана Лукерью Вивдич японцы вывели за село и прикололи к мерзлой земле штыком.

Когда загорелась министерская школа, Нюра Куцева, ученица этой школы, собрала пятнадцать перепуганных малышей и бросилась с ними в восточную часть села. Дети благополучно миновали мост через Маньчжурку, но здесь их схватили японцы и расстреляли.

Двести пятьдесят семь мужчин, женщин и детей убито и сожжено при разгроме Ивановки. Двести пятьдесят семь мучеников Ивановки!

На следующий день командующий японскими войсками в Амурской области выпустил приказ, в котором говорилось об уничтожении «одного из главных гнезд большевизма — села Ивановки».

Смертной болью сжались сердца братьев Бондаренко, когда их племянник Георгий привез в повстанческую армию эту страшную весть.

* * *

Весна принесла с собой вязкое бездорожье, бескормицу. Неудачные бои под Павловкой и Бочкарево оставили партизан без боеприпасов. Обоз, растянувшийся на шесть километров, был удобной мишенью для врага. Жизнь подкачивала новые формы и методы борьбы.

Весной 1919 года обозная армия Дрогошевского прекратила существование, уступив место легким кавалерийским отрядам. Генрих Дрогошевский с несколькими партизанами ушел на речку Малый Горбыль.

По таежным тропам до него дошла весть: растет и ширится партизанское движение в Приморье, Дальневосточным Краевым комитетом РКП(б) туда командированы Лазо, Губельман, А. Фадеев, Владивостоков и другие товарищи.

Этой вестью поделился он с Георгием Бондаренко. Георгий принял решение тотчас же, без размышлений: он уйдет с Дрогошевским в Приморье, будет драться с интервентами и белыми до победного конца и вернется на Амур под алым стягом красногвардейских войск.

...Памятна Георгию безлунная темная ночь, неумолчный шум речного переката, шелест склонившегося над темной водой тальника, четкий, напряженный шепот Дрогошевского:

— Помни: я тебя не знаю. И ты меня. Ты только возчик...

— Но...

— Слушай приказ своего командира: я тебя не знаю.

...К ним, крепко связанным, подходит офицер.

— Ты возчик? Сколько тебе лет? — спрашивает у него офицер.

— Дык они сказали, — глуповато усмехнувшись, отвечает Георгий, — а про то, сколько мне годов, мамка знает.

— Зовут-то тебя как? Ты хоть это помнишь?

— А как же... Бондаренкины мы, может слышали?

— И впрямь дурак... — решает офицер. — Развяжите его.

— Иди и не грехи, — сказал, развязывая ему руки, молодой казак с напущенным на бровь кудрявым чубом: — Живо! А то я могу и раздумать, пристрелю, так... для интересу.

Отойдя немного, Георгий залег в кустах. Он видел, как связанного Дрогошевского втащили на подошедший пароход и прислонили к капитанской рубке. «Я отомщу», — мысленно обещал командиру Георгий.

Он вернулся в Ивановку.

...Обгорелые трубы на том месте, где стояла школа. Серый камень в память его первого учителя.

«Я отомщу. Уйду к партизанам — и буду мстить беспощадно. ...Носится же где-то над почерневшей от горя амурской степью партизанский отряд «Черный ворон», бьет интервентов, как узнать, где он вьется сейчас?» — думал Георгий.

...Сладко спится на восходе солнца. Снятся синеющие до самого горизонта льны. Клонится, стелет колос по ветру пшеница, ходят волны в пепельно-зеленых, созревающих овсах.

— Гоша! Слышишь, Гоша?

Как не хочется открывать глаза!

И вдруг, как удар колокола, нетерпеливое:

— Да проснись же, Гошка! Казаки входят в село! Белые казаки!

Он уходит из села задворками...

Прощай, речка Маньчжурка! Это детство мое остается позади. Прощай, серый камень, хранящий под собой землю, впитавшую кровь моего учителя... Ты тот порог, за которым остается юность.

Идут незасеянными полями парни ивановские, ерковецкие, черемховские, богородские, козьмодемьяновские, жариковские... Примыкают сельские парни к городским, чтобы вместе бороться, вместе правду добывать для амурской земли.

Ветер срывает с придорожных кустов листья и гонит их вдаль, вместе с ключьями синеватого тумана. Солнце только что взошло. В его лучах искрятся сухие былинки, вздрагивают, будто оживая вновь, блеклые осенние цветы.

Георгий жадно вдыхает свежесть раннего сентябрьского утра. Он взволнован и, пытаясь скрыть волнение, быстро проводит рукой по спутанным ветром волосам.

Партизаны, греясь на солнце, дымят едким самосадам, перекидываются негромко шутками, изредка поглядывают на только что избранного командира, отлично понимая его волнение.

А он очень хорош в эту минуту, высокий, стройный, в ловко облегающей тело гимнастерке и начищенных до блеска хромовых сапогах.

Люди знали его как отличного разведчика, как молодую и славную поросль боевой семьи Бондаренко, как человека, которому до последнего часа верил Генрих Дрогошевский. Без страха и сомнения они вверили ему свою судьбу.

Плывут над преображенновскими заимками тонкие паутины бабьего лета.

— Григорий! — крикнул своему заместителю молодой командир отряда. — Иди, будем держать совет.

...Опытный разведчик, Георгий Бондаренко попытался наладить связь с другими партизанскими отрядами. В этом ему неожиданно помог дядя Василий, находившийся в отряде «Старика». Он примчался как-то под вечер из подернутой сизой дымкой степи еще более поседевший, еще более шумный, чем в былые дни.

— Принимай, командир, гостя! — крикнул он на скаку племяннику и, осадив коня, прыгнул на землю. — Не ожидал небось, а?

— Не ожидал, — вспыхивая румянцем, ответил Георгий. — Да как ты узнал?

— Э, милоч, худая слава бежит, а добрая летит.

Он хлопнул племянника по плечу.

— Рад за тебя, Гошка, рад сердечно.

...Над степью плыла лунная ночь, какие нередки на Амуре осенью. Василий сидел у стога прошлогоднего сена, Георгий стоял чуть поодаль. Пожевывая сухую былинку, он внимательно слушал важные новости, которыми делился с ним дядя.

Деятельность партизанских отрядов направлял и контролировал избранный на Албазинском съезде представителей партизанских отрядов «областной военно-полевой коллектив народной армии», который возглавляли Степан Шолов, Безродных, Патрушев, Петров, Филиппов и другие.

— Будем разрушать телеграфные линии, железные дороги, мосты, подвижной состав. А в предстоящих боях потребуется взаимная выручка и поддержка, полная согласованность действий. Ясно? — спросил Василий.

— Это-то ясно, — отозвался Георгий, — но вот еще что меня тревожит...

Он запнулся, но потом доверительно наклонился к дяде:

— Живем, как слепые щенки. Ни тебе газет, ни... Ей-богу, иногда ориентируемся по бабьим сплетням.

— И получается? — усмехнулся Василий.

— Я не шучу, — рассердился Георгий, — я тебе как старшему товарищу говорю. Возьми зиму: у нас и листовки, и воззвания были, а теперь...

«Молодой, горячий», — подумал Василий и сказал все с той же усмешкой:

— Да не кипятись ты, не кипятись. Слушай дальше. Съезд признал, что агитационно-пропагандистская работа является одной из важнейших задач руководства партизанским движением, и постановил...

— Да говори — не тяни душу, — вспыхнул Георгий.

— ...организовать пропагандистско-издательский отдел. Тут, милоч, не то что воззвания — своя партизанская газета будет! По-родственному могу сообщить: в редколлегия избраны Добровенский, Сафронов и я, — закончил он.

Дядя с племянником направились к рассыпавшимся на пригорке домикам небольшой деревушки. Шли молча. Каждый думал о своем.

— Я анархии у себя в отряде не допущу, — резко сказал Георгий, нахмурил брови и испытующе глянул на дядю: — У вас в отряде, говорят, вольно очень?

Василий нехотя ответил:

— У нас народ стреляный, смелый...

* * *

Большое село Ерковцы встречало партизанские отряды. Сначала подошел отряд «Старика», затем Макарова-Зубарева и «Черный ворон». Зазвучала в селе новая песня:

Пришла зима, замерзли реки,
Под снегом сепки улеглись,
И партизанские набеги
В борьбе за волю начались...

Под эту песню вошел в деревню отряд Георгия Бондаренко. Настроение у крестьян было приподнятое: в каждом отряде свои ребята, в каждом доме гости. Хозяйки варили, жарили, пекли...

Но только успели партизаны дохнуть домашним теплом, как раздалась команда:

— По коням!

Оказалось, что расквартированные в Ивановке и Песчано-Озерке японские гарнизоны начали наступление на Еркoвцы.

Партизанская разведка вовремя обнаружила их движение. Партизаны встретили интервентов дружным ружейным и пулеметным огнем.

Через несколько дней после боя под Еркoвцами партизанские отряды начали наступление из деревни Круглой на Заливку. Здесь они столкнулись с вооруженным отрядом кулаков. Партизаны вытеснили их из Заливки и гнали до деревни Рождественки. Но в Рождественке к кулакам-староверам присоединился японский отряд, и партизаны вынуждены были отступить за деревню Озерную.

...Трагический случай произошел вскоре под Широким Логом, куда стягивались крупные силы японцев и белых казаков.

Партизанские отряды Юшкевича и Бондаренко залегли в редком лесочке. Слева расположились партизаны под командованием Задерновского.

В морозном воздухе далеко разносился грохот подъезжавших к лесочку подвод. Партизаны насчитали их двести восемьдесят.

С телег торопливо соскакивали японцы и староверы. Сутулившиеся на передках возчики разворачивались и гнали коней обратно. Приземистые японцы и рослые бородачи-староверы строились у дороги. Партизаны брали их на мушку, с большим нетерпением ожидая приказа открыть огонь.

Вот вынырнул, наконец, из перелеска связной, коренастый, широкоплечий парень, балагур и весельчак, охотно откликнувшийся на прозвище «Пулемет». Он скачет вдоль

цепи, что-то кричит, а позади остаются растерянность и ропот.

— Назад! — надрывается «Пулемет». — Отступление! К сопкам! Назад!

— Да он с ума сошел? — недоумевают партизаны. Но приказ есть приказ.

И партизаны отступили, дорогой ценой оплатив ошибку связного: пехота оказалась отрезанной от основных сил и полегла под ударами японцев. Кулаки перешли Томь, разграбили и сожгли Широкий Лог. От большого зажиточного села осталось только два стоявших на отшибе дома.

* * *

Еще до заморозков в Тарбагатае, кулацком гнезде, шла лихорадочная работа: рылись окопы, строились надежные укрытия, село опоясывалось проволочными заграждениями, принимая еще более суровый и неприветливый вид. Кулаки-староверы вступили в сделку с интервентами. В селе обосновался японский отряд.

В начале ноября в Тарбагатай стали съезжаться староверы из Листвянки, Заливки, Селитьбы, Николаевки.

Узнав об этом, стали стягиваться сюда и партизанские отряды. Партизаны приняли решение штурмовать Тарбагатай в ближайшую ночь. За несколько часов до боя обнаружилось, что не пришел в назначенное время один из отрядов.

— Собираются, как на свадьбу, — сказал Георгий, узнав об этом, и вдруг вспылал: — Терпеть этого больше нельзя. Дисциплина для всех одна. Бой начнем точно. А об отряде будем разговаривать потом.

Но людей явно не хватало.

Георгий с группой партизан вызвался поджечь село изнутри.

В селе было тихо. За тесовыми оградами, гремя цепями, бежали сторожевые псы. У волостного правления зловеще зияли окопы.

Вскоре в Тарбагатае запылало 17 домов. Партизаны огородами выбрались из села и присоединились к своим. На улицах с винтовками в руках метались тарбагатайцы, топтались японцы.

— А ведь мы маху дали, — сказал кто-то, — нужно

было нападать врасплох. Вздуроражили все село. И светло как днем.

Нужно было немедленно, пока не улеглась паника, штурмовать Тарбагатай.

— Вперед, за мной! — крикнул Бондаренко.

В глубине улицы, у большого бревенчатого дома, шла ожесточенная перестрелка. Он бросился туда. В узком переулке, слева, копошились какие-то люди.

— Сюда, сюда, товарищи! — закричали они.

Георгий сделал знак связному и кинулся в переулок.

— Кто идет? — окликнули его.

— Командир отряда Бондаренко, — отозвался он.

Дружный залп заглушил его слова. Георгий упал навзничь, черное небо в россыпи разноцветных огней упало вместе с ним, придавило. Стало трудно дышать. Он потерял сознание.

— Бондаренку убили! — крикнул запыхавшийся связной, добежав до своих.

Но Георгий был жив, хоть и получил несколько пулевых ран. Кулаки раздели его и оставили умирать на снегу, стреляя в тех, кто пытался спасти командира.

На рассвете бывший фронтовик Яков Назаренко волоком вытащил Георгия за поскотину. Завернув в тулуп, его повезли на мельницу.

Юный командир потерял много крови. Его сильно лжхорадило. Скоро он начал бредить:

— Отряд еще не подошел? — спрашивал он в забытьи. — Дисциплина у них... говорил я дяде Василию... говорил...

Молоденький партизан, гнавший лошадь во весь опор, откидывал полу тулупа и проводил рукой по холодному лбу раненого. Георгий ненадолго умолкал, потом спрашивал нетерпеливо:

— Где мой Гнедко? Гнедко где?

— Нет твоего Гнедка, — отвечал партизан.

— Раздели, сволочи, — видимо, приходя в себя, сказал Георгий, — и кольт мой взяли... кольт...

Слова стали невнятными. Он опять потерял сознание и очнулся только на мельнице.

Он узнал мельницу по знакомому шуму жерновов. И, лежа с закрытыми глазами, улыбнулся. Раз он на мельнице — значит, еще маленький. Все хорошо. Теперь можно выспаться. Очень хочется спать. Оттого, что он неудобно

лежал, — слабость и ноющая боль во всем теле. Нужно хорошо вытянуться. Он вытянулся, улыбнулся.

— Теперь уже скоро, — сказал внятно, и с этими словами умол навсегда.

* * *

Февральский день был на редкость теплый. Лошади, прядая ушами, косились на стоявших у обочин тротуаров людей. Люди плакали и смеялись, кричали что-то хорошее, выскивали глазами близких...

По главной улице Благовещенска, от Зеи и до солдатских казарм, шли приамурские партизаны.

Вместе с другими вошел в Благовещенск и отряд Георгия Бондаренко. Опустив поводья, ехали его боевые соратники: Купреев, Кондратенко, Линник, Лазаренко и другие. В этот час народного ликования они думали о своем командире. Вспомнили, что в день тарбагатайского боя ему исполнилось только девятнадцать лет, и щемящей болью сжались их сердца. Чтобы заглушить ее, они дружно подхватили песню:

За нами красная Россия,
За нами красные стрелки,
И скоро в белое Приморье
Войдут советские полки...

...Вскоре отряд Георгия Бондаренко был влит в третий кавалерийский полк и отправился на Хабаровский фронт.

Путь Василия Бондаренко лежал на запад. Он добивал золотопогонников под Читой. Тесно связанный в период своей партизанско-журналистской деятельности с председателем областного военно-полевого коллектива Степаном Самойловичем Шиловым, Василий Бондаренко не менее плодотворно работал впоследствии с его братом Дмитрием, о котором шанхайская газета «Ди Чайна Пресс» нашла нужным поведать миру: «Казак теперь управляет Читинской Республикой. Д. Шиллов, прежний офицер, теперь коммунист, русский казак ростом более 6 футов, высокообразованный и любимый своим народом, теперь энергичный президент Читинской Республики».

Несколько лестных слов газета посвятила и нашему земляку Василию Бондаренко:

«Бондаренко, простой крестьянин Амурской области, — вице-президент».

Вернувшись в Амурскую область, бывший «вице-президент» долго и плодотворно трудился в качестве землеустроителя, немало способствовал он советизации далекого Сахалина. Но его прекрасная жизнь была внезапно оборвана в тридцатых годах в Благовещенске предательским ударом из-за угла.

* * *

На исходе короткого августовского дня мы проходим по улицам Ивановки.

На месте былых пожарищ давно отстроены дома, но память о страшной трагедии, которая произошла здесь почти сорок лет назад, жива...

Белый обелиск на том месте, где русских людей интервенты поставили на колени и скосили из пулемета. Белый обелиск там, где горели люди. Белый обелиск у Дома культуры: здесь похоронен юный командир партизанского отряда Георгий Бондаренко.

Годы над ним не властны. Ему девятнадцать лет, только девятнадцать. Мертвые остаются молодыми. Они бессмертны, если их жизнь отдана за народное дело!

Девушка в очках

Юность Веры Жаковой

Каждый раз, когда я прохожу мимо этого кирпичного, неуклюжей кладки дома, меня охватывает чувство неясной тревоги и невыполненного долга. Вспоминаются забытые лица, вновь звучат давно умолкшие голоса, в памяти всплывают славные имена и связанные с ними истории, поучительные и печальные в одно и то же время. Мне становится нестерпимо грустно... А порой я досаую, что этот дом то и дело попадаетея мне на глаза; но может ли быть иначе, если всего семнадцать номеров отделяют его от дома, в котором живу я.

Я вижу его снова и снова и нередко ловлю себя на мысли, что рассматриваю его с пристальным любопытством, как будто эти нештукатуренные и уже тронутые временем стены могут что-то добавить к истории почти тридцатилетней давности, о которой я, право же, не в силах больше молчать.

В те далекие годы в Благовещенске, в доме № 39 по улице Богдана Хмельницкого, носившей тогда название Торговой, жила небольшая и дружная семья Жаковых, одним из младших членов которой была шаловливая и живая, как ртуть, девчушка Вера. Мать Веры, Екатерина Алексеевна, преподавала историю в той же школе, где училась девочка, отец был юристом. Их радовала любознательность дочери. Удивлялась широте ее взглядов, глубине запросов и преподавательница русского языка и литературы Надежда Владимировна Ершова — лучший друг и наставник Веры. А дружба эта, кстати сказать, началась не совсем обычно.

— Надежда Владимировна! Да неужели вы самая настоящая внучка того дедушки Ершова, который написал «Конька-горбунка»? — спросила девочка, когда увидела учительницу впервые.

Учительница не без гордости подтвердила, что является «настоящей внучкой» своего знаменитого деда, и попутно разъяснила, что Петр Павлович Ершов был всего-навсего девятнадцатилетним студентом, когда написал своего «Конька-горбунка». Она поинтересовалась, нравится ли Вере эта сказка. Оказалось, что Вера знает ее наизусть. Тут уж пришлось удивляться Надежде Владимировне.

— Всю сказку? — усомнилась она.

— От начала до конца, — подтвердила Вера.

— Да не может этого быть! А ну прочти.

Щеки девочки вспыхнули ярким румянцем. Переступив с ноги на ногу, она упрямо трянула коротко остриженными волосами, и в притихшем классе зазвучал звонкий, слегка взволнованный голосок:

За горами, за лесами,
За широкими морями,
Не на небе — на земле
Жил старик в одном селе...

Неизвестно, дочитала ли тогда Вера сказку до конца, но сердце своей учительницы она пленила навсегда. Между ними возникли отношения, которым могли бы позавидовать многие.

Внучка бывшего директора Тобольской гимназии, писателя Ершова, была человеком большой культуры и незаурядных знаний. Окончив в начале века Благовещенскую женскую гимназию, она училась затем в старейшем университете Франции — Сорбонне.

Живя в Париже, она встречалась с Горьким и, закончив университетский курс, по его совету вернулась в родной город сеять «разумное, доброе, вечное». Читая в подлинниках французских и немецких классиков, она стремилась овладеть и английским языком, чтобы, не пользуясь переводами, изучать Шекспира, Диккенса, Бернарда Шоу, Голсуорси. Вера, изучавшая английский язык в школе и бравшая частные уроки, в произношении значительно превосходила свою учительницу и передавала ей свои знания, требуя взамен исчерпывающих ответов на бесчисленные «где», «как», «отчего» и «почему».

Частенько, когда косые лучи закатного солнца зажигали нестерпимым блеском стекла окон, девочка выскальзывала за ворота и мчалась на улицу, носившую веселое название Садовой, к мрачноватому дому, облицованному «американским» рифленным железом, и, избежав на высокое крылечко, вступала в мир, чуждый обыденности и прозе. Здесь, в большой, заставленной книжными шкапами комнате, перед ее мысленным взором оживали химеры Собора Парижской богоматери, мелькало изрезанное морщинами суровое лицо Квазимодо; скользила легкой тенью Эсмеральда со своей неизменной спутницей — белоснежной козочкой; проплывали в веселом хороводе кокетливые арлезианки; смеялись, щуря черные, как маслины, глаза, лукавые провансальцы; рослые, крепкогрудые бретонки, придерживая обветренными руками затейливые головные уборы, напряженно вглядывались в морскую даль, высматривая знакомый парус.

В высокие окна медленно вползали сумерки, но их не замечали там, где рассыпались каскады жемчужных брызг фонтанов Тюильри, где звучали медленные гавоты и плавные минуэты золоченых зал Трианона, где плыли по зеркальной воде горделивые лебеди, звенели тончайшие, как лепестки роз, бесценные вазы северского фарфора, где познавались древние сказания друидов и чудесный мир содружества музыки и поэзии, открытый гением великого французского Ромэна Роллана.

Вера могла позволить себе роскошь использовать досуг по своему усмотрению: природа щедро наделила ее памятью, тем самым устранив необходимость тратить время на заучивание уроков. Но она и не тратила его впустую. Спустя восемь лет со времени, о котором идет речь, современники могли сказать о Vere следующее:

«Она поражала пытливостью ума и энциклопедичностью знаний. В мире ее книжных друзей можно было обнаружить трактаты Леонардо да Винчи и исторический обзор об удельных князьях XVIII—XIX веков, сочинения Стендаля и исследование о скоморохах на Руси.

...И все же она торопилась, она жила стремительно, целиком посвятив себя любимому делу — русской истории, древности, старине».*

* «Комсомольская правда», 15 апреля 1937 г.

Но дивясь многогранности интересов и стремлений Веры, ее новые друзья не знали истоков этого богатства мыслей и чувств, как не знали они ни зеленовато-серого особняка на Садовой, ни белоснежного здания школы, тут вот — за первым углом от ее дома, на улице, носящей теперь имя великого пролетарского писателя А. М. Горького. А ведь именно здесь, в нашем городе, зарождались ее вкусы, складывалось мировоззрение, здесь обнаружился ее талант и то страстное увлечение стариной, которые дали ей возможность написать «...о знаменитом механике-изобретателе, самоучке Иване Кулибине, архитекторе Федоре Конне, о музыканте Березовском, о жене Пугачева — Настасье Хлоповой».*

А толкнула ее к этому найденная в укромном уголке библиотеки, собранной тремя поколениями Ершовых, древнерусская повесть «Фрол Скобеев», та самая, которая спустя долгие годы вдохновила советского композитора Т. Хренникова на создание одной из лучших наших опер.

Присев на скамеечку у ног любимой учительницы, Вера прочла повесть залпом. Потом между нею и Надеждой Владимировной возник великий спор, закончившийся решением инсценировать это замечательное произведение и поставить на школьной сцене. Они трудились упорно и долго, и труд этот не пропал даром: древняя повесть вдруг заблестала яркими красками нерастроченной юности, взволновала множество умов и дала толчок к расцвету самых неожиданных талантов. Среди школьников нашлись отличные художники и костюмеры, а кандидатов в исполнители оказалось столько, что для них, при всей щедрости драматургов, не хватило ролей. Постановка «Фрола Скобеева» прошла с большим успехом.

Как-то в руки Веры попал старый журнал, в котором она обнаружила стихотворение Надежды Владимировны, написанное ею еще в гимназические годы. Оно было посвящено А. С. Пушкину. Вера читала и перечитывала это стихотворение. Ее волновала мысль, что оно было написано девочкой чуть постарше Веры.

Вере было разрешено ознакомиться с заветной тетрадью, хранившей стихи и сказки, написанные Надеждой Владимировной в юности и в более зрелые годы дома и на чужбине, в Париже.

* «Комсомольская правда», 15 апреля 1937 г.

Писать стихи казалось Вере величайшим счастьем. Однажды глубокой ночью, когда в доме все спали и серебряные лучи месяца недвижно лежали на полу, она прошлепала босыми ногами к выходящему во двор окну и, волнуясь, спеша, захлебываясь в потоке хлынувших слов, записала в школьную тетрадку свое первое стихотворение. Утро уже стучалось в окна, когда она, вздрагивая, как от озноба, и счастливо улыбаясь, нырнула под одеяло.

Прошло еще несколько творчески-напряженных ночей и бездумно-веселых дней. Синенькая школьная тетрадка уже едва вмещала «мечты и звуки», набросанные беглым почерком Веры. Девочка была неразлучна с нею, перечитывала свои стихи на переменах, исправляла и дополняла. У нее была теперь тайна, и она не доверила бы ее никому из близких. И все же нашелся человек, которого она решила посвятить в эту тайну.

Это были дни, когда вся страна радостно волновалась: Горький возвращался на Родину.

В конце летних каникул Вера послала Алексею Максимовичу свои первые творения. Теперь ее не покидала тревога: прочтет ли Горький стихи, не высмеет ли ее, самонадеянную дикарку с берегов Амура? Порой она дивилась тому, что отважилась на такую дерзость. Да разве это стихи? Ну что изменится, если Горький и прочтет их? В лучшем случае он улыбнется, скомкает исписанные листки и бросит их в корзину. Станет ли он тратить время на ответ да и есть ли у него это время? Ведь его ждут большие и важные дела.

Вера старалась казаться беспечной, вприпрыжку бежала в школу и потихоньку напевала:

— Не придет, не придет, да не придет же никогда!

Но письмо пришло. Доброе, душевное письмо. И сейчас, долгие годы спустя, нельзя без волнения читать эти строки.

23 октября 1928, Сорренто.
Вере Жаковой.

Судя по Вашему письму, Вы — человек хороший, умный, значит — Вы не огорчитесь, если я скажу Вам правду, которая всегда более или менее горьковата, — такова уж ее природа.

Что Вы умница — об этом говорит Ваша оценка Ваших же стихов, — Вы пишете: «Мне кажется, что стихи мои никуда не годны, они плохие, и я хочу бро-

сильно писать». Это — верно, стихи очень плохие. Но Вы должны знать, что в 14 лет от роду и Лермонтов и многие другие прекрасные поэты писали тоже скверные стихи.

Нет, Вы не бросайте писать, но учитесь писать хорошие стихи, вот это будет правильно. Не печатайте, не торопитесь заслужить чин поэтессы, почитайте мастеров стиха: Пушкина, Лермонтова, Фета, Фофанова, Бунина, даже мрачного Сологуба. Если у Вас нет этих книг — напишите мне, я Вам пришлю. И вообще напишите: не надо ли Вам каких-либо книжек? Читайте больше, внимательней, учитесь, учитесь, и — кто знает? — может быть, года через 3—5 начнете писать отлично. А пока пишите для себя, не показывая людям стихи Ваши. Это — для того, что неосторожные или мало сведущие люди могут похвалить Вас, а похвала — неосторожная, неумелая — может повредить Вам, милый мой далекий человечек.

Всего доброго!

М. Горький.

23.X.28 *

Да, именно в этот дом пришло первое «горьковатое» письмо. Сама Вера вспоминала об этом событии так:

«Горький был моим вторым отцом. В 1928 г. я послала Алексею Максимовичу свои первые отвратительные стихи. Мне было тогда тринадцать лет. Как-то, вернувшись из школы, я чуть не обезумела от радости, получив письмо от великого писателя. Прочитала: стихи очень плохие, но работать следует.

Начала работать, работала долго и много. Алексей Максимович присылал мне книги, советовал, ободрял. Мы жили тогда на Дальнем Востоке, в Благовещенске».**

И как же она тогда выросла — наша Вера! Озорная, непоседа, «ртутный шарик», как называли ее подруги, она стала вдруг сдержанной, сосредоточенной, молчаливой. Это было непостижимо для окружающих, но ведь тогда еще никто не знал, что Вера решила стать писательницей. Как войдет она в литературу, было пока неважно: прежде чем сказать что-нибудь свое, нужно было еще много и упорно

* М. Горький. Собр. соч., т. 30, стр. 104—105.

** «Комсомольская правда», 21 июня 1936 г.

учиться, что ее призвание — литература, в этом она больше не сомневалась. И все изменилось вокруг, мир заблестал новыми красками.

Как-то под вечер ее неудержимо потянуло на третий этаж школы, в пустовавшую с гимназических времен «домовую церковь» (теперь там физкультурный зал). Вера на цыпочках прокралась по крашеному полу к окну и осторожно глянула вниз. Позднее она записала в своем дневнике:

«...Голубело небо, одетое ожерельем зеленоватых почек. Напротив черный, словно вырезанный из бумаги, поднимался силуэт двухэтажного дома. На черной земле лежали красные тени окон».

Несколько лет спустя эти строки мы прочитали в одном из первых произведений Веры — в «Школе Ступина» *

И еще год-другой, живя в Благовещенске, Вера тщательно наблюдала, писала, рвала написанное на мелкие клочки и сжигала в печке. Она училась, переписывалась с Горьким, зачитывалась Пушкиным и Веневитиновым и однажды, в тяжкую минуту крайнего недовольства собою, выписала на память слова последнего:

Не имеет вчуже утешенья
Душа, богатая собой.

И ни на один миг не забывала она своего решения: писать, только писать. В этом видела Вера цель и смысл жизни.

И когда «скитания по земле Российской» привели в Благовещенск молодого, начинающего писателя, он, естественно, услышал о ней и счел нужным познакомиться.

Теперь, вспоминая те далекие годы, известный и у нас и за рубежом советский писатель А. С. Пришвин говорит: «А вот эту девочку в очках — я запомнил. Она много смеялась и смотрела как-то особенно внимательно, почти пытливо в лицо человека, к которому обращалась».

Потом мои связи с этим городом прервались, и я уже никогда не встречался с Верой. И лишь лет через пять или шесть мне пришлось прочитать ее очерк или рассказ в альманахе, и я тогда с удовольствием воскликнул: «А ведь это та самая Вера!»

* «Молодая гвардия», 1937 г., № 5.

...Жизнь ее очень поучительна для нашей молодежи, поучительна своей целеустремленностью, стремлением к поставленной задаче и достижением ее».

Как-то в разгар лета в жизни пограничного городка произошло событие, вызвавшее немало шума и разговоров. Помнят теперь об этом очень немногие, и только бессменный, с 1916 года, хранитель школьного имущества и преданий, Трофим Иванович Белоус мог рассказать о нем более или менее подробно.

— Как же, как же, — говорит он, и глаза его загораются. — Как сейчас помню: приехала за нашей Верочкой какая-то дама из Москвы, а прислал ее Алексей Максимович Горький. Ну, снарядили Веру, как могли. И радостно было родителям и страшновато: как-то примет ее Горький? Ведь Вере-то было пятнадцать лет всего, девочка совсем. О чем они станут разговаривать? Письма письмами, там каждое слово продумано, а тут встретятся лицом к лицу, как да что?

Но напрасны были эти тревоги. Те, кто знал Веру в Москве, утверждают, что:

«Пятнадцатилетней девушкой она удивила Горького обилием научных сведений и тем творческим жаром, который побудил Горького — великого ценителя истинных дарований — так внимательно и заботливо следить за ней и направлять ее дальнейшую работу».*

— Да, видно, так оно и было, — продолжает Трофим Иванович. — Вскорости уехали в Москву и родители Веры. Два раза побывал я у них там: в 1932 году, Верочка тогда еще училась, и в 1935. К тому времени она уже ученье кончила и по заданию Алексея Максимовича в Горьком работала. А жили они в Москве, за Калужской заставой, почитай, в пригороде. Хорошо, удобно жили.

В то самое время, о котором говорит Трофим Иванович, Горький обращался к Вере с дружески-шутливыми и очень серьезными посланиями.

5 апреля 1932, Сорренто.
Жаковой, Вере.

Премудрая, уважаемая и нелепая девушка в очках!
Ваше умение читать книги — восхищает меня, я говорю это совершенно серьезно и с крепкой надеждой,

* «Комсомольская правда», 15 марта 1937 г.

что Вы, со временем, научитесь писать весьма полезные книги.

Но — всякое дело надобно начинать с начала, а поэтому прочитанного Вами по истории рифмы — недостаточно. Вы сами видите, как субъективны и противоречивы соображения литераторов, чьи труды прочитаны Вами.

Противоречивость, разногласия и словесная путаница литераторов была бы для Вас значительно более ясной, если б Вы обратили внимание на фольклор — на пословицы, прибаутки, на материал хороводных — плясовых — шуточных песен. Если Вы серьезно решили заняться работой о рифме — фольклор надобно знать, ибо в основе «писаной» литературы лежит устная.

И надобно знать европейские работы по этому вопросу. На каких языках читаете Вы? Сообщите мне это — немедленно! — я достану Вам нужные книги и привезу оные.

И — до свидания! Скоро увидимся, и я буду злобно над Вами издеваться, ведьма. И — еретица.

Уважаемый Вами старик
А. Пешков.

5.IV.32. *

А вот письмо, написанное Горьким шестнадцать месяцев спустя.

5 августа 1933, Москва.

Внимание, девица Жакова, Вера!

Немедленно по получении сего моего приказа начните: собирать факты, кои — в одну сторону — свидетельствующие об инициативе различных «мелких людей», а в другую сторону — о том, как эту инициативу не понимали и подавляли.

Имею ввиду пономаря, который «изобрел огнедышащую машину в 1772 г.», как сказано в письме Вашем, окаянная душа! Вот таких пономарей, Фультонов и прочих сего ряда, соберите десятка три, четыре и подумайте: не окажется ли возможным установить, что разный мелкий, «ничтожного положения народ» самосильно пытался ввести или внести в жизнь нечто

* М. Горький. Собр. соч., т. 30, стр. 249.

облегчающее или украшающее ее, — старался за свой страх и бескорыстно послужить делу культуры, а люди «высокого положения» и предельной сытости эти усилия ничтожных игнорировали. Вы — понимаете?

Обдумав сию тему, сядьте и разработайте ее в статье — размером в лист, в полтора. Статью же нужно написать живо и просто, как Вы, чертовка, пишете безумные Ваши письма. Написав статью, Вы притащите ее Горькому М., заместнику Горьковского края, и выслушаете от него различные словесные поношения, после чего статья может быть напечатана.

Вот Вам. А то Вы, девушка, расплзаетесь во все стороны, как тень облака, гонимого ветром. Накопляя фактические знания, Вы недостаточно уделяете внимания их социальному смыслу, не ищите его.

Обратите внимание на Зарубина, автора повести «Темные и светлые стороны русской жизни», он был землемер, человек провинциальный, что-то изобретал, изобрел какие-то географические измерительные аппараты, кои не нашли применения. О нем в «Отечест(венных) записках» писал Деметр, кажется, в статье «Поездка по Волге». Кулибина не забудьте. Вообще — старайтесь! Хорошо сделаете — куплю полкило конфет, не очень дорогих, разумеется.

До свидания! Надо бы взглянуть — какая Вы теперь? (...)

А. Пешков.

5.VIII.33.*

И Вера старалась. Последующий, 1934 год, был уже годом смелых открытий и вдохновенного, созидательного труда. Осознав свои силы, она стала работать в полную меру.

В эти дни Вера узнала и полюбила мастера Аристотеля Фиоравенти.

«...Человек среднего роста, мало разговорчивый, опрятный, совершенно подходящий для дома Сфорца». Он, попросту, не мог остаться незамеченным ею, потому что «...Аристотель выпрямлял реки и башни, лил колокола и пушки, передвигал церкви, поднимал с морского дна тяжести. Работа доставляла ему удовольствие, как хорошая еда или женщина».

* М. Горький. Собр. соч., т. 30, стр. 315.

Юной писательнице шел двадцатый год. Пристально и пытливо проследила она долгий путь Аристотеля, когда перед ним «в снегу, в синем холоде звездных ночей проходили Владимир, Ростов, Ярославль, Устюг Великий, Вологда, Соловки», когда «прозрачная даль унылых равнин наполняла сердце неведомой грустью». И как же она потом гордилась этим путешествием! Нет, она не могла оставить на полпути такого удивительного человека, познавшего и радость больших побед и горечь тяжелых разочарований.

А потом в поле зрения Веры попал «черный человек Федор Конь». Этот великан стал духовно близок ей тем, что «...его пугало и радовало человеческое умение превращать дерево в резьбу, кирпич — в легкие купола церквей и насупленные зубцы стрельниц».

Юная писательница гордилась этим человеком, она видела его таким, каков он был на самом деле:

«Семнадцатилетний, сутулый, с карими глазами и умным лбом, прозванный за силу «Конем», он казался старше своих товарищей, и они охотно подчинялись его распоряжениям.

Через ненависть к заказчикам, через неуклюжую юношескую грубость он проносил огромную творческую любовь к работе, помогавшую многое видеть и чувствовать».

Затаив дыхание, прислушивалась она к словам военного инженера Иннокентия Барбарини, сказавшего «Коню» там, в далеком солнечном Лугано, простые и веские слова:

«Если вы останетесь в Италии, то из вас выйдет великий инженер и архитектор».

Гордость, радость, подлинное счастье испытала Вера, видя «черного человека» в такую значительную для него минуту. Она записывала то, что видела:

«...Федор улыбался. Он знал, что остаться невозможно, что по ночам ему снятся деревянная оснеженная Москва, Кремль, собор Спаса на Крови и пушечник Андрей Чохов».

Сдержанно и гневно, с щемящей болью в сердце, писала Вера заключительные строки скорбной эпопеи:

«...Так погиб Федор Конь, умевший выводить крепости, копать тайники, ставить храмы и всяческие палаты. Его постройки, а также жизнь, являют пример прекрасного мужества и любви к трудному строительному мастерству».

И учитель ценил работу Веры. Об этом свидетельствует не только участвовавшая переписка, но и трогательная забота Алексея Максимовича о художественном оформлении

подготавливающейся к печати книги Веры, беспокойство о ее материальных нуждах.

14 марта 1934, Москва.

Девушка Вера Жакова!

Прочитал о «Коне» *. Весьма интересно и хорошо написано. Продолжая в этом духе и по этой линии, Вы можете дать очень ценную книгу ярких иллюстраций к истории русской культуры. Крайне важно отметить, что в далеком прошлом мастерами культуры являлись зачастую такие же простые «черные люди», какие создают ее в наши дни, но уже на иной социально-идеологической основе.

Найдите старые гравюры московского Кремля и вообще палатного строения, — иллюстрируем книгу. Давайте Семехина, Горбунова, эмалиера Виноградова, крепостных «зодчих», живописцев, музыкантов и т. д. Давайте очерк о Постнике и Барме, Выродкове, Чохове, об Анне Никитиной, монахини Меланье, Софье Ананьевой. Работайте так, чтоб не получалось «кряво», в чем Вы сознаетесь в письме ко мне. Вы девушка даровитая и должны работать очень серьезно, очень тщательно. Это Ваша обязанность не только перед страной, но и перед самой собой. Не торопитесь «написать». Если Вам нужны деньги — возьмите у Крюкова сколько нужно.

Крепко жму Вашу руку. Работайте больше, это Вам полезно, девушка в очках.

М. Горький. **

Старинные часы за стеной мелодично отзвонили полночь, но Вера не слышала их боя. Перед ее глазами проходила «горестная жизнь архитектора Василия Ивановича Баженова».

«Полуголодный с растрепанными волосами, в заплатах на кафтане, он бродил по прямым проспектам, обдумывая эскизы необыкновенных зданий и картин».

Перо скрипело и цеплялось за бумагу. Вера не замечала этого. Она торопливо писала:

* Очерки В. Жаковой «О черном человеке Федоре Коне» «О мастере Аристотеле Фиоравенти» и «Горестная жизнь архитектора Василия Ивановича Баженова» напечатаны в 1934 году в сборнике «Год семнадцатый. Альманах четвертый».

** М. Горький. Собр. соч., т. 30, стр. 340.

«...Два года тянулась кляузная канцелярская переписка. Измученный, опустошенный, Василий пристрастился к водке и одиночеству. Искусство не сравняло бедняка с зельможами, и мастер с грустью перечитывал письма члена многих музыкальных академий Европы М. Березовского: «Опера моя под названием Демосфен великий успех в Лионно имела, и через нее от высоких особ множество я получил комплиментов. Чаю я, что крепостное состояние таланту и трудолюбию помехою быть не может».

За окном лежала Россия, дикая медвежья страна, смертельно ласкавшая своих лучших детей», — заканчивала Вера страницу, не замечая, что в окно уже стучится утро. Но разве могла она остановиться! Детство, когда она могла беззаботно нырнуть под одеяло на рассвете, осталось далеко позади. И Вера писала дрожащей от бессонной ночи и нервного напряжения рукой:

«...А из Петербурга поручик Пахомов привез Василию письмо, в коем уведомлялось, что друг его Максим Березовский в пьяном виде перерезал себе горло. Член многих музыкальных академий, европейски известный композитор, вернувшись в Россию, пел как простой певчий в императорской капелле, и, наконец, измученный насмешками и частую поркой, «решился на подобный богомерзкий поступок».

Теперь Вера непрестанно думала об этих людях: друге Федора Коня, отлившем знаменитую «Царь-пушку», Андрее Чохове, сподвижнике Ломоносова, замечательном керамисте и основателе фарфорового производства в России, Дмитрие Ивановиче Виноградове, о фортификаторе XVI века Иване Григорьевиче Выродкове, о выходе из крепостных крестьян живописце-портретисте Кирилле Антиповиче Горбунове и многих других, чья жизнь от начала до конца служила достойным подражания примером.

А русские женщины! С присущим ей пылом, гордясь и восхищаясь, Вера писала Горькому об Анне Никитиной, жившей в городе Пскове еще в XV веке и прославившейся участием в строительстве собора и церквей, о монахини Нозинского монастыря в Москве Меланье, прирожденной художнице, отличавшейся большим искусством в иконописи. Но, пожалуй, ближе и понятнее всех была ей изобретательница Софья Ананьева, простая фабричная работница, жившая в XVII веке и изготовлявшая бархатные ткани. Следуя указаниям Горького, Вера по крупицам восстанавли-

вала то, что сохранила об этих женщинах память и архивы.

Но открыв для мира самоучку-архитектора Федора Кона (литературоведам стоило бы поинтересоваться, не послужил ли труд В. Жаковой первоисточником для поэта Дмитрия Кедрина, создавшего в эти годы великолепную поэму о Коне) и выполнив на высоком уровне ряд других работ, Вера вдруг стала работать ниже своих возможностей, и в письмах Горького зазвучали тревожные нотки.

19 мая, Горки.

Дорогая девушка Жакова Вера!

Вы очень торопитесь. Торопитесь не только писать, но и думать, а привычка думать поспешно может — незаметно для Вас — разбить, рассеять Ваше литературное дарование, да и Ваш вкус к истории.

Касаясь материала весьма ценного и нового, Вы оставляете на нем следы Ваших пальчиков, — не более этого. А материал заслуживает серьезного к нему отношения, тщательной обработки.

В новеллете о Д'Эсте — в самом ее начале — Вам следовало бы дать хотя бы страничку о герцогах Феррары, о их родстве с королями Франции, о «Паризине». Рассказывая о Строганове, необходимо упомянуть о русских «якобинцах» во французской революции, — один из таковых изображен в романе Загуляева «Русский якобинец».

Жильер Ромм кончил жизнь свою провинциальным антикваром и, кажется, пред этим — занимался искусством медальера. «Судьбы людей отражают смысл или бессмыслицу истории», как правильно сказано Л. Стерном.

Не торопитесь, Верочка, дитя мое! Литература — это труднее, чем любовь. Вам грозит болезнь, которую можно назвать: перенасыщение и утомление неорганизованным знанием, — перенасыщение, которое может обратиться в отвращение к знанию.

Отнеситесь к этим моим замечаниям серьезно, ибо я серьезно, искренно желаю Вам хорошего, здорового роста. Не суетитесь.

Тимоша приглашает Вас в Горки.

А. Пешков. *

* М. Горький. Собр. соч., т. 30, стр. 345.

И вот, менее чем через месяц уже не из Горок, а из Москвы приходит новое письмо, начатое в шутливом тоне «добрых старых времен», но со второй же строки, заставлявшее насторожиться и призадуматься над словами «уважаемого Вами старика», который, видимо, встревожен не на шутку.

17 июня 1934, Москва.

Верочка, китайское чудовище и ведьма!

Еще раз повторяю Вам: если Вы станете разбрасываться — толка из Вас не будет. Талант — как породистый конь, необходимо научиться управлять им, а если дергать поводья во все стороны, конь превратится в клячу.

Если Вас «дезорганизует» Ваша жажда впечатлений и обилие их — заведите дневник и складывайте в него все лишнее, что не нужно Вам на сей день. А если Вы одновременно будете писать о Федоре Конне, герцогах Д'Эсте и метрополитене — Вы обо всем этом будете писать плохо и недостойно Вашего дарования. Да еще неврастению наживете, чортова кукла, аристократка и вообще — чучело.

Я Вам совершенно серьезно говорю: нельзя работать так, как Вы работаете. Литература — дело глубоко ответственное и не требует кокетства дарованиями.

Сведений о Ромме не могу дать, не знаю, где они у меня; книги, прибывшие из Италии, я еще не разбираю, а опираясь на память, не решаюсь ничего сообщить, чтоб не подсказать Вам ошибку. Посмотрите, нет ли чего о нем в биографиях медальеров XVIII в.

Привет. Призываю к порядку.

17.VI.34.*

М. Горький.

Строгой отеческой заботой и самыми добрыми пожеланиями проникнуто письмо Горького, в котором он предлагает Вере большую самостоятельную работу, называя ее «пробой пера».

Октябрь 1935, Тессели.

Уважаемая, окаянная и проклятая девушка, — не заводите суматоху!

* М. Горький. Собр. соч., т. 30, стр. 350.

Вы много знаете, неплохо говорите, но делаете Вы мало и всегда хуже, чем могли бы. Весьма сожалею, что мне приходится повторять то, что я уже говорил Вам, и не скрою — повторения эти надоедают мне. Хочется, чтоб они надоели и Вам.

Мы уговорились, что Вы напишите очерк по истории города и края в XIX столетии. Убедительно прошу Вас вместить работу Вашу в эту рамку. Если Вы находите неизбежным корректировать очерк Г. П. Шторма — договоритесь с ним. Прошу Вас считаться с тем, что на работу по этой книге уже затрачены большие деньги и ее пора двигать быстро, плодотворно. Давайте на этом и решим.

Но — я имею предложить Вам вот что: если собранный Вами материал соблазняет Вас на большую серьезную работу — начинайте писать по плану, набросанному Вами в письме ко мне, — самостоятельную работу «История г. Нижнего Новгорода от основания до XX в.». Эту работу я заказываю и оплачиваю, и она должна быть для Вас серьезнейшей «пробой пера», пробой сил. Если даже она и не удастся Вам — она Вас многому научит, покажет Вам размер Ваших сил. Я даю Вам для нее 18 месяцев. Идет?

Но, пожалуйста, не торопитесь с обобщением и с филологическими фокусами. У Вас, напр., «Балахна — от балак, рыба». Ну, а балахон, баланда, балакирь, балагур, баловень и т. д.? По-татарски рыба — балык, а не балак. Может быть, Балахне родственны — Балашов и Балаклава, но — очень советую филологией не играть, это штучка хрупкая.

Перечисляя старинные города, Вы забыли Мурашкин, Лысково, Макарьев и т. д., забыли Оку, эта река имела для развития края значение не меньшее, конечно, чем Сура, Ветлуга, Клязьма. Так вот, девушка, согласитесь на этом разделении работы Вашей. Отвечайте.

М. Горький. *

Предложение Алексея Максимовича не застало Веру врасплох. Она давно уже готовила себя к большой работе. Нужен был только толчок. Срок, установленный Горьким,

* М. Горький. Собр. соч., т. 30, стр. 406—407.

был вполне приемлемым, и она горячо взялась за дело. Меткое перо «девушки в очках» обрело к тому времени чудесное свойство — в нескольких беглых штрихах запечатлевать на бумаге предельно ясную и четкую картину.

«Как и во всех городах Российской империи, в Арзамасе — колокольный звон, лавки, лабазы, церкви, монастыри, янтарные зори осени, серебряные ветлы ранней весны, распутицы, вьюги» — пишет она в «Школе Ступина».*

Но пейзаж для Веры Жаковой — не самоцель, главное — это человек труда И «человек» — у нее воистину звучит гордо. Именно за это удостаивается она сдержанного одобрения Алексея Максимовича, ставшего скуповатым на похвалы.

25 апреля 1936, Тессели.

Вере Жаковой.

Очень рад сказать Вам, Вера, что о Кулибине Вы написали хорошо — гневно, горячо, ярко, и все — в меру. Чувствуется, как тема волновала Вас, и это волнение испытываешь. Уверен, что также испытает его любой грамотный человек читатель. Вещь эту надобно будет издать вместе с другими биографическими очерками Вашего пера, — интересная книжка будет.

«Нижний» требует кое-каких поправок, прилагаю «указатель» оных.

Теперь, когда Вы, наверное, поняли, как важно отдать всю свою волю определенной задаче, я почти уверен, что дальнейшая работа у Вас пойдет легко и быстро.

По вопросу о расколе недавно вышла книжка, — не помню, чья и как озаглавлена, я видел ее мельком.

Поменьше пишите о Горьком-литераторе. Говоря о судоходстве, наверное, скажете что-то о бурлаках, а говоря о них, вероятно, вспомните «Эй, ухнем». Смело можете утверждать, что эта песня не бурлацкая, т. е. не та, с которой бурлаки «тянули лямку», тянули они ее

С болезненным припевом «ой»

И в такт качая головой —

как сказано у Некрасова, воочию видевшего это. А пели они:

* «Молодая гвардия», 1937 г., № 5.

Ой-ой, ой-ё-ёй,
Дует ветер верховой...

Или нечто в этом духе пели:

Ты подай, Микола, помочи,
Доведи, Микола, до ночи...

И не было у них никаких причин вносить в трудовую песню слова из девичьей песни, коя пелась в семик:

Разовьемте березу,
Разовьемте кудряву...

и т. д.

Пели и «Эй, ухнем», но в тех случаях, когда «паузились», стаскивали баржу с мели, артельно ворочали большие тяжести, пели так:

Эй, ухнем!
Эй, ухнем!
На подъем берем,
Да — ухнем!
Эх — сильно берем,
Да и дружно берем!
Вот пошли!
Вот пошли, пошли!

и т. д.

Очень рад я, что Кулибин удался Вам!

Будьте здоровы, растите большая.

25.IV.36.*

М. Горький.

И вот вскоре после того, как было написано это письмо, весь мир потрясла скорбная весть о смерти величайшего инженера человеческих душ — Алексея Максимовича Горького.

В тот день, когда трудящиеся всего мира навсегда прощались с великим гуманистом и неустанным борцом за светлое будущее человечества, Вера, как в недавние дни, видела ласковый прищур мудрых горьковских глаз, и ей слышался его знакомый до мельчайших интонаций голос: «Очень рад я, что Кулибин удался Вам!»

* М. Горький. Собр. соч., т. 30, стр. 436—437.

Теперь она осиротела. Но Вера чувствовала себя сильной: у нее был опыт, мастерство и письма Горького, заботливо пестовавшего ее в течение восьми лет; перечитывая эти письма, она как бы снова беседовала с ним, живым.

И она трудилась не покладая рук, помня о том, что в апреле 1937 года истекает срок окончания заказанной Алексеем Максимовичем «Истории Нижнего Новгорода от основания до XX века».

Именно в те дни, целиком уйдя в изучение скудных данных «о разном мелком ничтожном положении народа», Вера обнаружила в Горьковском архиве несколько пожелтевших от времени листов бумаги, повествовавших о печальной участи Василия Репского.

Талантливый крепостной певец и композитор, В. Репский был в составе посольства Ордина-Нащокина в Италии и учился у первоклассных мастеров вокального искусства. Знатоки музыки сулили Репскому блистательное будущее, но по возвращении в Россию он подвергся жестоким истязаниям со стороны своего владельца Артамона Матвеева и был сослан в Арзамас, где и умер от туберкулеза.

По крупицам воссоздавая трагический облик этого замечательного человека, в иных социальных условиях ставшего бы гордостью своего народа, Вера обратилась к прекрасному знатоку музыки и другу ее учителя — Ромэну Роллану с просьбой помочь ей в поисках материалов о Репском.

В ответном письме, датированном 14 октября 1936 года, Ромэн Роллан писал:

«Маленькая история молодого музыканта, о котором Вы говорили мне, чрезвычайно интересна. Я хотел бы, чтобы Вы мне сделали краткое изложение ее (живое, по возможности, точное) и чтобы Вы мне его послали.

Я постараюсь опубликовать его в одном из французских обозрений».

Ромэн Роллан советует Вере произвести розыски в музыкальных архивах Болоньи и заканчивает свое письмо так:

«Я надеюсь, дорогая В. Жакова, что Вы благополучно придете к окончанию своей работы, и я Вам желаю богатой жатвы в архивных документах и интересного произведения искусства.

Сердечно расположенный к Вам Ромэн Ролан»^{*}

Она не торопилась больше, «не суетилась», но время ее было рассчитано до минуты. И Вера не повинна в том, что история Василия Репского, как и многие работы ее, осталась незавершенной. 13 марта 1937 года Веры Жаковой не стало. Она умерла двадцатидвухлетней, в пору своего творческого расцвета, еще раз, и теперь бесповоротно, ослушавшись Алексея Максимовича, завещавшего ей: «Будьте здоровы, растите большая».

В статье, посвященной молодой писательнице, «Комсомольская правда» писала:

«Мы не можем пройти мимо того факта, что более всего равнодушными к этому талантливому молодому литератору оказались Союз советских писателей, литературные журналы и издательства. Достаточно сказать, что некоторые из ее рукописей, одобренные А. М. Горьким и правленные его рукой, до сих пор еще не увидели света. Часть произведений Веры Жаковой, тех самых, что по мнению Горького, могли бы составить прекрасную книгу, лежат в канцеляриях журнала «Молодая гвардия», «История заводов» и др.

Несмотря на это, она настойчиво и неумолимо продолжала свою работу и вела ее до последнего дня своей короткой, но содержательной и богатой творческой жизни».^{**}

* * *

С тех пор прошло двадцать лет... Тщетно в городе, где жила и училась Вера Жакова, где живут и трудятся ее сверстники и где теперь три высших учебных заведения, искать следы ее пребывания, искать труд ее жизни. Ни в областной, ни в городских библиотеках, ни в фундаментальной библиотеке педагогического института, — где есть и «Архангельское Евангелие 1092 года», и ставшее библиографической редкостью издание «Слова о полку Игореве», и даже «Биографии знаменитых полководцев» древнеримского историка и писателя Корнелия Непота, изданные в 1733 году, — вы не найдете ни строки, принадлежащей пе-

* «Исторический архив», 1956 г., № 5, стр. 225—226.

** «Комсомольская правда», 15 марта 1937 года.

ру «девушки в очках». Даже само ее имя вызывает недоуменные вопросы наших библиографов:

— Вера Жакова? Писательница?

Затем следует безапелляционный ответ:

— Такой не было и нет...

Но Вера-то Жакова была. Еще шумят вокруг школы высокие тополя, знавшие молодую писательницу ребенком, и как двадцать и как тридцать лет назад одеваются по весне «зеленоватым ожерельем почек». И они, несомненно, помнят Веру.

Так почему же память человеческая оказалась короче?

Как случилось, кто же повинен в том, что зрелый труд, которому юность отдала столько творческого горения и бессонных ночей, труд, к которому так внимателен был Горький, оказался, по существу, сделанным впустую?

Мирно, не привлекая ничего внимания, покоятся в Горьковском областном архиве рукописи писательницы: «Из истории г. Н. Новгорода», «XIX век Нижегородского Поволжья», «Школа Ступина», «Град Китеж», «Мятежники обстреливают правительственные лазареты» и различные материалы краеведческого характера, собранные Верой Жаковой в последние месяцы ее жизни. А где другие рукописи, где, наконец, «Кулибин»?

Не пора ли стряхнуть так рано выпавший «снег забвения», скрывший не только славные имена многих из тех, кто «старался за свой страх и бескорыстно послужить делу культуры», но и не менее славное имя писательницы-комсомолки Веры Жаковой? Слово за вами, товарищи литераторы и издатели Благоевщенска, Горького, Москвы!

...Вот какие мысли овладевают мной, когда я прохожу мимо старого кирпичного дома и порой мне кажется, что он думает о судьбе «девушки в очках» то же, что и я.

Человек большой души

...Аккуратные ряды ослепительно-белых фарфоровых банок со снадобьями и порошками. Оскаленный череп... А что обозначают эти тщательно выведенные слова?

Голубоглазый подросток даже привстал на цыпочки, стремясь постигнуть их смысл. Услышав за спиной громкий смех, мальчуган густо покраснел, будто его застали за чем-то недозволенным, и быстро обернулся.

В дверях провизорской стоял аптекарский ученик Миней Губельман.

— Что это ты колдуешь? — продолжая смеяться, спросил Миней и добавил: — Это, братец ты мой, латынь, тут не скоро разберешься! А впрочем...

Он испытующе посмотрел на мальчика.

— Хочешь поучу?

Гриша Новиков обрадовался и согласился.

Так вот на ходу, в окружении аптечных склянок, и начались эти первые в жизни Гриши уроки.

«Мальчик на побегушках» не знал, что его учитель — будущий академик Емельян Ярославский. А будущий академик не предполагал, конечно, что его ученик станет ученым-краеведом.

На первых же уроках обнаружилось, что начинающий латинист не имеет понятия об элементарнейших правилах своего родного, русского языка.

— Да как же ты учился, что и грамматики не усвоил? — изумился учитель. — Ну-ка признавайся, сколько ты классов кончил?

И Гриша Новиков вынужден был признаться, что не

пробыл в школе ни единого дня. Мелькнуло в памяти недавнее «золотое детство»...

Старая избенка на окраине Нерчинска. Добрый дед — церковный причетник. Жили впроголодь, ходили в отрепьях. Дед гордился тем, что бог дал отцу Гриши «умные руки». Это было верно: отец был и столяр и печник... Но он пил, топя в рюмке свое горе и заботу, а когда умерла мать — и совсем сбился с пути.

А все же, не будь отца, Гриша так бы и не научился читать.

Как-то в минуту душевного просветления отец не пропил деньги, а сделал дедушке дорогой подарок: купил библию — двенадцать книг в тесных коленкорových переплетах. Тогда и выучил благодарный дедушка Гришу с братом читать.

В четырнадцать лет Гриша остался круглым сиротой. Городская управа определила его на работу в аптеку, потому что нужно же ему было вместе с младшим братишкой как-то существовать...

Он так и не решился рассказать обо всем этом своему учителю. Но Миней Губельман все же узнал Гришину печальную историю и удвоил опеку над подростком.

— Уж если латынь тебе по плечу, — посмеиваясь сказал он, — то с русским-то я тебя как-нибудь примирю!

Два года длились занятия.

За это время Гриша заметно вырос, возмужал и понял, что пропитанный душными запахами лекарств мирок стал ему тесен. Он не задумываясь оставил аптеку, поступив в Нерчинскую почтово-телеграфную контору почтальоном. По тернистому пути революционера пошел Миней Израйлевич Губельман. И дороги их, терпеливого учителя и пытливого ученика, больше не пересеклись никогда.

Гришу всегда томила жажда нового. Одним из его увлечений стала филателия, в какой-то мере утолявшая эту жажду.

Постоянно общаясь с народом, юноша жадно вслушивался в его живую, образную речь. Он неустанно записывал и песни, и частушки, и пословицы, и поговорки. К этому времени относятся первые литературные опыты Григория Новикова, печатавшегося под псевдонимом «Даурский». Псевдоним стал впоследствии составной частью его фамилии.

В октябре 1903 года почтальон Новиков был призван в

армию. Казалось, сбылась самая заветная мечта: он был определен во флот.

Но на берег теплого моря Григорий Новиков попал сухопутным путем, и рука его, так и не познавшая тайны морского узла, приняла винтовку. Он встал в ряды защитников Порт-Артура.

Крепкой метой врезался в его память день 19 декабря 1904 года, когда смертельно боявшийся собственных солдат Стессель отправил к японскому командующему парламентера с известием о полной готовности сдать крепость. Герои обороны — солдаты и моряки Квантунского экипажа — были отданы на милость победителя.

...Лесной питомник в восемнадцати километрах от города Осака—Хамадера. Красивая местность. Пять дворов — приют для военнопленных. Более 22 тысяч защитников Порт-Артура находилось в приюте.

В опубликованных уже воспоминаниях Григория Степановича мы находим такие строки:

«...Четвертый двор Хамадерского лагеря пленные в шутку называли «соединенными штатами», потому что часть барачков занимали солдаты и матросы нерусской национальности: татары, евреи, поляки и другие. «Иноверцы» были объединены по указанию японского правительства.

Поляки получали много книг и газет из Америки, от польских эмигрантов. Русские же, кроме старых газет, долго не получали никакой литературы, а читать очень хотелось...

...В начале июня 1905 года мне пришла в голову мысль издавать рукописный журнал. Несколько грамотных товарищей составило «редакционный коллектив», и мы взялись за дело. Купили мы бумаги, обсудили программу журнала, придумали ему название — «Друг» и приступили к составлению и размножению первого номера. Размножали от руки, и на эту работу нашлось сотрудников больше, чем требовалось. Цену за номер назначили по 4 копейки.

Успех журнала превзошел все наши ожидания: мы не могли удовлетворить спроса на него. Пришлось изыскивать другой способ размножения. Остановились на гектографическом копировании. Изготовить гектограф взялся я сам, так как знал рецепт его приготовления. Копирование пошло успешно, только иногда мешала жара, формы расплывались».

Чайки над морем, белый парус, волнистая линия — кусочек суши, слово «Друг», мостом перекинувшееся в сторону далекой родины, — таково оформление этого журнала. Совершенно очевидно, что «цель журнала — дать некоторое развлечение товарищам по плену» была явно уменьшена. Подтверждением этого служит внимание старого доктора Русселя.

Доктор Руссель. Каука-Лукини... В юности, учась на медицинском факультете Киевского университета, он звался Николаем Константиновичем Судзиловским. Захваченный революционной борьбой, Судзиловский стал в Бухаресте одним из организаторов пересылки в Россию нелегальной литературы. Из-за преследований властей ему пришлось сменить фамилию и переехать в Болгарию, затем в Америку. Но и там непокорный доктор задержался недолго. Разоблачив темные дела епископа Алеутского и Аляскинского Владимира, он доставил немало неприятностей заправилам русской церкви, но сам был вынужден переселиться на Гавайские острова.

Его потрясла трагическая судьба мирного и трудолюбивого коренного населения архипелага — канаков. Захватившие Гавайские острова американцы лишили их средств к существованию и обрекли на медленное вымирание.

Каука-Лукини, то есть «русский врач», как называли Судзиловского в этой стране, не только успешно лечил канаков, но и возглавлял их борьбу с поработителями. Канаки избрали Каука-Лукини членом своего парламента, а на первой же сессии гавайского сената доктор Руссель был провозглашен президентом.

Но маленький народ не смог отстоять своей независимости. Доктор Руссель начал бесконечные странствия. Он перебрался на Филиппины, затем в Китай, в Японию. В Японии престарелый Руссель обосновался по поручению русских политэмигрантов для ведения революционной пропаганды среди русских военнопленных. Он стал издавать иллюстрированный еженедельник «Япония и Россия».

Однажды они встретились, седобородый бунтарь и не по летам рассудительный нерчинец, тоскующий в плену по своему суровому краю. Встреча произошла в лагерном лазарете, куда Новиков был помещен после нападения на него черносотенцев.

— Итак, вы забайкалец?

Голубые глаза доктора Русселя вспыхнули молодым огоньком.

— А ведь я думал о вашей родине, — сказал он. — Сколько светлых умов угасло до времени в этом краю ка-торги и ссылки. И знаете, в Шанхае мне пришла однажды мысль, что многих можно было бы спасти. Меня это тревожило по ночам... Я так реально видел стены Акатуйской тюрьмы! Я даже ощущал их холод. Из достоверных источников мне было известно, что охраняется она чрезвычайно слабо. Можно было бы проникнуть в нее со стороны Монголии. Вам никогда не приходило это в голову? Нет? А мне вот пришло. Я даже стал разрабатывать план... — добавил он после недолгой паузы и тут же сказал: — А теперь о деле, которое привело меня сюда...

Доктор Руссель был неплохо осведомлен о положении дел в Хамадерском лагере.

«Я стал получать от него непосредственно журнал «Япония и Россия», революционную литературу, материалы для помещения в «Друге», бумагу для его издания, письма и экстренные выпуски телеграмм, из которых мы узнавали все русские новости, в некоторых случаях скорее, чем о них узнавали жители многих пунктов в самой России», — вспоминает Григорий Степанович.

После посещения лагеря военнопленных доктором Русселем в нем начались горячие, доходившие до ссор, споры и дискуссии на политические темы. А журнал «Друг», получив возможность увеличить тираж, стал помещать заметки и статьи на «гражданские темы», в которых подвергались критике русские политические и общественные порядки.

Не удивительно поэтому, что возвратившись на родину, Новиков-Даурский оказался в числе неблагонадежных. За ним был установлен негласный полицейский надзор. В те трудные дни, когда бывший пленник Хамадерского лагеря тщетно искал работу, полицейский надзиратель Максимов «по секрету» указал ему на истинную причину всех бед и злоключений и посоветовал уехать из Нерчинска.

Григорий Новиков выехал на Казаковские золотые прииски и стал работать «почтарем». Он участвовал в нелегальных собраниях группы РСДРП, руководимой Романом Туровским, а перейдя в Нерчинскую почтовую контору, сблизился с кружком большевиков братьев Шило-

вых. Этого было достаточно, чтобы снова попасть в списки неблагонадежных.

В январе 1914 года Григорий Степанович остался без работы. (В это время он снова жил на Казаковских приисках). Зима выдалась на редкость суровая, а у него уже была семья. Отправив жену с грудным ребенком в Нерчинск, он с двухлетней дочуркой перебрался в Ундинскую станицу, где занимался фотографией, переплетал книги — все это давало возможность не умереть с голоду. Летом он выехал в Нерчинск за женой и сыном.

И там совершенно неожиданно пришло решение ехать на Амур.

Добравшись до Сретенска, Григорий Степанович открыто сказал капитану парохода «Зея», что денег на проезд у него нет. Капитан разрешил ему ехать безбилетным пассажиром, но с условием — принимать участие в погрузке топлива на всех пристанях.

За девять дней до начала первой империалистической войны, 22 июля 1914 года, со схода «Зеи» на амурскую землю ступил человек, которому было суждено глянуть пытливым взором в ее прошлое и сделать многое для ее будущего.

На следующий день после приезда в Благовещенск Григорий Степанович направился в редакцию газеты «Благовещенское утро».

Высокий, седой господин, восседавший за редакторским столом, выслушал робкого посетителя довольно учтиво и зарокотал хорошо поставленным баритоном:

— Как же, читывал... приходилось... в нерчинских газетах встречал ваше имя, и в читинской, и в сретенской... «Сибирские вопросы»... там тоже ваши статейки изредка попадались.

Он помедлил, будто подыскивая какие-то особенно веские слова, и закончил довольно неожиданно:

— Только я в услугах ваших не нуждаюсь. Сам... сам от первой до последней строчки делаю свою газету! Да-с... Сам! Сам! И помощники мне не нужны. Не доверяю... игнорирую... обходился и впредь буду обходиться!

Незадачливый посетитель попятился к двери. И только очутившись на улице, вздохнул облегченно.

Через несколько минут он входил в редакцию газеты «Эхо».

Первый, кого он здесь встретил, был нерчинец — даль-

ний родственник братьев Шиловых. Выслушав Григория Степановича, Шилов рассмеялся:

— Так вам и заявил, тружусь, мол, единолично? Что ж, это на него похоже, на Матюшенского-то...

— А как у вас насчет работы? — поинтересовался Новиков.

— Право, не знаю, но редактор наш, Губанов, будет поговорчивее.

— Вакантных мест у меня нет, — сказал редактор «Эха», — но судебная хроника у нас хромает. Грязное дело, берутся за него только по нужде... Попробуйте, а там видно будет. Да, кстати... сегодня в суде будет разбираться тяжба: зубной врач предъявляет иск нотариусу. С этого и начните. На строчки не скупитесь. Ну, в час добрый!

С отчетом об этом судебном процессе впервые и выступил в благовещенской прессе репортер Новиков-Даурский. Но вскоре он почувствовал, что судебная хроника весьма далека от того, о чем он мечтал. Ему удалось найти другую работу — в бесплатной детской библиотеке-читальне имени Л. Н. Толстого.

Он умел отлично ладить с детьми, этот невысокий, с тихим голосом и медлительными движениями человек.

Забываясь о сохранности и увеличении книжного фонда, он не только сам старательно переплетал каждую книгу, но и устраивал силами своих читателей детские спектакли, сбор с которых шел на пополнение библиотеки. Удовлетворяя свою страсть к журналистике, он приступил к изданию иллюстрированного журнала «Записки любителя». Журнал имел большой успех у молодежи, так как помещал на своих страницах научно-популярные статьи и, что было еще заманчивее, первые литературные опыты молодых авторов.

Новиков-Даурский отважился даже на издание газеты «Восточная почта». Но мог ли никому неизвестный библиотекарь соперничать с такими зубрами, как Матюшенский или сын золотопромышленника Варзакова? Он «прогорел» на втором же номере, у него, попросту, не оказалось шести-десяти рублей для уплаты владельцу типографии.

...С годами работы у Григория Степановича все прибавлялось. Он организовывал детские площадки, устраивал веселые выходы за город, учил ребятишек распознавать целебные свойства трав и цветов, делал гербарии, собирал и

инвентаризировал книги из библиотек земской управы, духовной семинарии, казачьей управы и других упраздненных после революции учреждений. Из этих книг он скомплектовал областную библиотеку и длительное время работал ее директором.

В книгохранилище и сейчас можно найти не одну сотню томов, побывавших в руках Григория Степановича и заботливо одетых им в переплет.

Подрастали пытливые и любознательные читатели детской библиотеки, и Григорий Степанович беспокоился об удовлетворении их разнообразных интересов. В противовес буржуазной организации бойскаутов, Новиков-Даурский создал при своей библиотеке «Детское общество», в котором было немало кружков. По его инициативе возник «Юношеский Союз», который в феврале 1920 года реорганизовался в Амурский союз молодежи, а впоследствии принял Устав Ленинского комсомола.

После того, как детская библиотека была слита с областной, Григорий Степанович начал работать в областном музее.

В 1930 году в первом номере «Записок Амурского окружного музея и краеведческого общества» была опубликована первая научная работа Г. С. Новикова-Даурского — «Археологические разведки в окрестностях сел Игнатьевки, Марково и Екатериновки Амуро-Зейского района Амурского округа и гор. Благовещенска».

Этот научный труд был очень интересным и вполне зрелым. Так началась краеведческая деятельность Новикова-Даурского, ставшая основным содержанием его жизни.

Интересны сделанные Григорием Степановичем описания древних захоронений, мастерски выполненные чертежи городища Кучугур и находящегося в окрестностях Екатериновки кургана, известного среди местных жителей под названием Бутанчик.

С годами имя ученого-краеведа стало известно далеко за пределами нашей области. Достаточно сказать, что статьи «Амурская область» и «Благовещенск», опубликованные в первом томе Малой Советской Энциклопедии и статья «Амурская область», помещенная во втором томе второго издания Большой Советской Энциклопедии, написаны Г. С. Новиковым-Даурским.

Высокую оценку его научным статьям дает в 22 томе «Советской Археологии» известный археолог профессор

А. П. Окладников. В статье «Новые сведения по археологии и истории Приамурья» он пишет:

«Г. С. Новиков-Даурский четверть века работает в Амурском областном музее краеведения, занимаясь широким краеведческим изучением Приамурья и в том числе его археологических памятников. Большую научную ценность имеют собранные им археологические коллекции, сведения о различных памятниках старины и основанная на этих документальных данных археологическая карта Среднего Приамурья, над составлением которой он продолжает работать. В статье «Приамурье в древности» Г. С. Новиков-Даурский дает сначала краткий обзор основных фактов дорусской истории Приамурского края, начиная с каменного века и вплоть до 18 столетия. Здесь очень интересны сведения о случайно обнаруженном в 1927 г. в дер. Новопокровке, Благовещенского района, погребении в виде холмика из камней».

Не менее высокую оценку дает профессор Окладников и другой работе нашего краеведа — «Открытие Амура русскими и начало освоения края».

Почти одновременно с опубликованием в Москве статьи профессора Окладникова в Амурском книжном издательстве увидел свет новый труд Григория Степановича — «Материалы к археологической карте Амурской области».

Пристальное внимание исследователя привлекают земляные валы у села Каникурган, городище Гора-Шапка в Михайловском районе и десятки других, безымянных, но не менее значительных и интересных.

Селища, могильники, стоянки... И найденные здесь древние предметы домашнего обихода, остатки воинских снаряжений, украшения...

Амурская земля открывает свои тайны тем, кто терпелив и внимателен.

Вот высоко взметнувшаяся к небу знаменитая «Архаринская писаница». Григорий Степанович о ней пишет:

«На правом скалистом берегу реки Архары, между устьями ее притоков Татакан и Дыды, в 25 км выше деревни Гилево-Плюсинка, на 7—8 м над рекой вертикально возвышается довольно гладкая скала. На ней красной краской нанесены изображения человеческих фигур, зверей, слочек и т. п. Это самая восточная из всех известных на Дальнем Востоке писаниц».

«Архаринская писаница» привлекла внимание советских ученых.

«В августе 1954 года, — сообщает Григорий Степанович, — ее исследовал и снял на кальку участник Дальневосточной археологической экспедиции Института истории материальной культуры Академии Наук СССР Г. Ларичев».

Пройдут годы, и, может быть, будет разгадана тайна «Архаринской писаницы»; мы узнаем, в честь какого великого события или безысходного горя нанесены на скалу эти знаки, кто был их творцом.

Большую работу проделал Григорий Степанович по изучению этнографии и фольклора Приамурья. Он составил картотеку литературы об Амурской области, пополнил фонды краеведческого музея большим количеством своеобразных коллекций и экспонатов. Еще в 1932 году Григорий Степанович начал работу по обследованию известных, а также выявлению новых месторождений полезных ископаемых в Свободненском и Кумарском районах нашей области. Собранные им образцы пополнили коллекции не только областного, но и Хабаровского краеведческого музея.

Тысячи жителей нашей области знакомы с Г. С. Новиковым-Даурским — эрудированным лектором областного лекционного бюро и областного отделения Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний.

Общественность Благовещенска высоко ценит неутомимую деятельность ученого-самоучки. Он неоднократно избирался депутатом Благовещенского городского Совета депутатов трудящихся. Григорий Степанович — бессменный член кафедры географии Благовещенского педагогического института им. М. И. Калинина, член Амурского отделения Всесоюзного географического общества, большую работу ведет он и в областной плановой комиссии и в экспертно-проверочной комиссии при областном архивном управлении.

Нельзя обойти молчанием и обширную переписку Г. С. Новикова-Даурского, и устные консультации, которые он дает по самым различным вопросам прошлого и настоящего нашей области.

Трудно теперь установить, как и когда началось это. Вероятнее всего, сначала установилась регулярная переписка с коллегами по работе, сотрудниками Хабаровского и других музеев краеведения.

Некогда бегавшие в детскую библиотеку босоногие мальцы, сами ставшие теперь почтенными матерями и отцами семейств, работая в советских, партийных, комсомольских и научно-исследовательских учреждениях и институтах, так и не утратили потребности обращаться в затруднительных случаях к Григорию Степановичу, верному советчику и другу.

А наряду с этим, возникают новые и не совсем обычные знакомства.

Бригадир каменного карьера, находящегося «выше села Н.-Воскресенки, 16 км вверх по Амуру», Иван Михайлович Черняев сообщает, что при разработке карьера рабочие находят различные старинные вещи, и дает подробное описание найденной бляхи: «...с лицевой стороны сделано кертно или трафарет вручную, с тыльной стороны — 2 ушка с отверстиями, в них пройдет только игла. Металл определить не могли...»

Об авторе этого письма мы не знаем ничего, кроме того, что нашел он нужным сообщить о себе. Но разве письмо бригадира Черняева, стремящегося «за свой страх и бескорыстно послужить делу культуры», не достойно стать в ряд с письмом ученика Арсеньева — историка Рябова, который благодарит Григория Степановича «...за присылку интереснейших Ваших работ», или письмом писателя Кирюшкина, заинтересовавшегося газетной статьей старого краеведа — «Желтугинская республика» и получившего ряд материалов об «Амурской Калифорнии».

А вот сотрудник редакции «Дальневосточный комсомолец» Г. Н. Хлебников сообщает, что им написана повесть о прискаателях 80-х годов, и обращается к Григорию Степановичу с просьбой выслать дополнительные материалы, требующиеся для доработки повести.

Переписка с писателями у краеведа так обширна, что для некоторых авторов заведены специальные папки. К числу таких счастливицев относятся Н. Н. Матвеев-Бодрый, А. А. Чумак, Е. Д. Петряев и другие. Специальные папки отведены и для переписки со вдовами Степана и Дмитрия Шиловых. Здесь и фотографии их самих, и фотографии их детей и внуков, и снимок мраморного надгробия Дмитрия Шилова на Ваганьковском кладбище в Москве, и снимок домика Шиловых в Нерчинске, на Култуке.

Находясь два года тому назад в родных краях, Григорий Степанович посетил этот домик — и возмутился; до-

мик был заброшен, пришел в ветхость. Старый краевед под-нял вопрос о сохранности зданий, представляющих истори-ческую ценность.

В решении, присланном исполкомом Нерчинского город-ского Совета депутатов трудящихся на имя Григория Сте-пановича, мы читаем:

«Рассмотрев письмо научного сотрудника Амурского областного музея тов. Новикова-Даурского под заголовком «Бескультурье» и акт комиссии по вопросу состояния па-мятников, находящихся в г. Нерчинске, исполком горсовета решил: ...запланировать под капитальный ремонт на 1958 год здание, в котором жил Емельян Ярославский, ...просить облисполком о разрешении на покупку городским Советом оставшейся части бывшего дома братьев Шиловых с целью полного восстановления его».

В марте 1958 года общественность областного центра сердечно проводила на пенсию заслуженного ветерана тру-да. Григорию Степановичу пошел тогда семьдесят седьмой год, и эта дата почти совпала с тридцатилетием его работы в музее.

Как он живет теперь, как использует свой досуг?

Недавно я навестила Григория Степановича.

...Вечнозеленые растения. Жесткие стулья в белых, рас-шитых чехлах — миром и тишиной веет от этой незатейли-вой обстановки.

Но старенький «Ундервуд» с заложенным в нем листом бумаги, рукописи в аккуратных картонных папках, выдви-нутые ящики каталога — все говорит о том, что день здесь заполнен до отказа. Подбор книг свидетельствует о склон-ности к большой и напряженной работе.

Сейчас хозяин этой комнаты обобщает труд своей жи-зни. Но по-прежнему действена его связь с внешним ми-ром. Каждый день почтальон приносит ему весточки изда-лека то в виде телеграммы екатеринославских школьников-краеведов, избравших Григория Степановича почетным чле-ном своего общества, то в виде письма из Барнаула от пен-сионера Алексея Гончарова, одного из организаторов амур-ского комсомола. Он вспоминает о том далеком времени, ко-гда носил редактору-издателю Новикову-Даурскому свои стихи.

«Затем я хорошо помню Вашу роль в организации Со-юза Молодежи, хотя Вы уже не были в то время юношей нашего возраста», — пишет Алексей Гончаров.

А вот принесли объемистое письмо с Южного Сахалина. Письмо на шестнадцать страниц! Много интересного сообщает в нем старому другу Иван Андреевич Аксенов. А заканчивается это письмо, как и многие другие, добрым пожеланием:

«...Ну, пожелаю быть здоровым, не симуляничать, а работать и работать. Надо оставить о себе след, да поглубже».

К этим словам и добрым пожеланиям Ивана Андреевича охотно присоединится каждый, кто знает Григория Степановича Новикова-Даурского, человека большого обаяния и большой души, человека, внесшего значительный вклад в изучение родного Приамурья.

Герой нашего времени

Как-то утром мать строго-настрого наказала пятилетнему Коле не высовывать носа из избы и смотреть в оба за младшим братишкой Петькой. Глаза у Коли большие, черные, со смешинкой. Когда он раскрывал их пошире, глаза становились совсем круглыми, и мальчик был убежден, что это и есть «смотреть в оба».

Мать сняла со стены зеркало и стала завертывать его в большую шаль. Коля только раскрыл рот, чтобы спросить, зачем она это делает, как распахнулась дверь, в избу ввалились отец и чужие, бородатые дяди, и сразу же поднялась веселая кутерьма: они стали таскать столы, табуреты, какие-то большие узлы, потом поволокли широкую деревянную кровать и, наконец, подняли большой, крашенный зеленой краской и обитый жестяными полосками сундук, на внутренней крышке которого были наклеены удивительно красивые картинки. В это самое время Петьке пришло в голову посмотреть, что же творится на улице.

— А ну, не путайся под ногами! — крикнул кто-то.

Тут Коля вспомнил поручение матери и, метнувшись к брату, придержал его за руку у самого порога. Сундук благополучно вынесли и стали грузить на подводу, но Петька, видимо, думал, что без него не обойдутся и, чтобы поскорее отделаться от большака, укусил брата за руку. Коля, возмущаясь такой несправедливостью, дал ему подзатыльник, после чего оба, посмотрев внимательно друг на друга, громко заревели, не столько от боли, сколько от обиды. На крик вбежала мать, в сбившемся на бок полушалке, дала обоим шлепка, а потом сгребла братьев в охапку, вытащила во

двор и приткнула на телеге между большим узлом и наскоро сколоченной клеткой с кудактавшими курами и неистово оравшим петухом.

Братья еще всхлипывали, но не могли не оценить преимущества занятой ими позиции: очень приятно было наблюдать, как из дому тащат большую ванну, в которой их купали по субботам, и сознавать, что эта повинность, наверняка, минет их сегодня.

Мать чего-то испугалась, всплеснула руками и побежала в избу. Оказывается, она забыла снять иконы и теперь тащила их в руках.

— Ну, все? — спросил отец.

— Все... — вздохнула она.

— Трогаемся, Иван Григорьевич, — крикнул топтавшийся у переднего веза бородатый дядя.

— Трогаемся! — ответил отец и подобрал вожжи.

— С богом, — сказала высокая худая женщина и стала почему-то сморкаться в передник.

— С богом, с богом, — нестройно подхватили набежавшие соседки и стали совать Коле и Петьке еще теплые шаньги с творогом и картошкой.

— А рисковая ты, Ольга, — изумилась та, что была в синем переднике, и зашептала, припадая к плечу матери: — Ведь город... пойми ты, город... чужой, незнакомый. А тут все свои, в обиду не дадут...

— Ладно, ладно... — дрогнувшим голосом отвечала мать.

— Вот ты тут верховодила над мужиком как хотела, а там — что бог даст, — зловеще предрекала бабенка в шелковом полушалке.

Мать пожала круглыми плечами:

— А я и там мужу потачки не дам... Коли он от деревни отстал, нужно и мне с ребятами к городу прибиваться. Очень оно уж начетисто выходит на два котла жить.

— Оно верно, без хозяина дом — сирота, — поддакнул кто-то.

— Да и на девок чужих будет поменьше заглядываться, — озорно блеснула глазами мать. — Верно я, Иван, говорю? — смеясь обратилась она к отцу.

— Ладно, вот уж ладно... — смутился почему-то отец. — Мелешь тут... — он сердито стегнул лошадь.

— А что, правда глаза колет? — смеялась мать. Но уже скрипели тронувшиеся с места везы, и нельзя было ра-

зобрать ни ее слов, ни того, что нестройно кричали провожающие. Коля неотрывно смотрел на бегущие навстречу бревенчатые дома родной Анновки, на гибкие, усыпанные набухшими почками ветки черемух, на тонкий парок, поднимающийся от уже вспаханных огородов. Ребятишки провожали тархтящие телеги завистливыми взглядами, и Коля чувствовал себя подлинным героем дня.

Вот и поскотина осталась позади, сразу же за нею началась бескрайняя амурская степь. Округлив зоркие глаза, он видел, как взмывали ввысь поющие жаворонки, вслушивался в посвист столбиками стоящих у своих норок сусликов и удивлялся, как это сидящий рядом Петька мог методично жевать свою ватрушку, а шагающая рядом с телегой мать — просто смотреть себе под ноги и чему-то улыбаться.

— Мам, а мам, — позвал он ее тихонько, — а куда мы едем, мам, на, заимку?

— В город, сынок, в город, — охотло откликнулась мать.

— Это, мама, откуда привозят баранки?

— И баранки, сынок, и баранки...

— А мы скоро туда приедем?

— Нет, не скоро... Завтра к вечеру доберемся.

— А за Петькой надо в оба смотреть? — опять спросил Коля.

— Теперь не надо, я сама за вами присмотрю. Да ты, никак, спать хочешь? — удивилась она. — А ну-ка, привались к перине и спи.

Он покорно прижался к мягкому узлу и, укачиваемый мерным движением телеги, погрузился в сон.

...Шли годы. Коля с Петей подросли. Они уже бегали в обсаженную высокими тополями школу имени Ломоносова и почти не ссорились. Оба были теперь старшими. В доме появились еще дети: две девочки и мальчишка. За ними тоже нужно было глядеть в оба, хотя мать и не говорила об этом, но все разумелось само собой. Для молодой поросли Романюков не было секретом, что в доме верховодила мать. Летом это происходило по той причине, что отец, плавающий на пароходе рулевым, был редким гостем в доме, а зимой просто потому, что она и не думала выпускать из своих рук бразды правления. В доме все вертелось ее старанием и сметкой. У нее выработались свои непреложные законы.

— Не красна изба углами, а красна пирогами, — гова-

ривала нередко Ольга Романовна. Она поднималась с постели затемно, растопив печь, будила детей. А накормив их горячим варевом, подавала первую команду:

— Колька, запрягай лошадь и езьжай живенько за бардой. Петька, натаскай в бочку воды и почишь стайки.

Такие же посильные задания получали и остальные ребяташки.

В белом приземистом домике не было места ни пылинке, ни паутинке — все блестело чистотой. В порядке содержалась и усадьба и прилегающая к ней часть улицы.

Все молодые Романюки трудились не покладая рук: мыли, скребли, копались в огороде, косили сено, а случалось — и сами готовили обед.

Братья имели и свои маленькие тайны, за которые мать едва ли погладила бы по головке. Так, они рано тайком научились курить и, что было гораздо опаснее, — переплывать Зею. Они знали, что в этой стремительной и широкой реке, где бьют со дна студёные родники, каждое лето тонуло немало их сверстников, и все же река притягивала их неудержимо.

Мысль переплыть Зею первому пришла Николаю. Он плыл, наслаждаясь свободой; чувствуя легкую усталость, переворачивался на спину и широко раскрытыми глазами смотрел на пушистые белые облака, почти неподвижно стоявшие в блекло-голубом небе; обаруживая, что его относит течением, быстрыми резкими взмахами забирал влево, а ступив на покатый песчаный берег, не мог удержаться от победного клича. Но обернувшись назад, он вдруг испугался: следом за ним плыл брат и, казалось, выбивался из сил. Темноволосая голова Петра то взлетала на гребень волны, то вдруг пряталась в ее податливой глубине. Николаю почему-то вспомнилось далекое анновское утро, отчетливо прозвучал материнский голос: «Смотри за Петькой в оба!» А Петька сейчас утонет! Объятый смертельным ужасом, он кинулся навстречу брату, отчаянно крича, чтобы тот выгребал к видневшейся неподалеку узкой песчаной косе. Через несколько минут, обрушив на раскаленный песок покрывшееся пупырышками тело, он жестоко отчитывал Петьку за то, что тот, не спросясь, решился последовать его примеру. Впрочем, назад они возвращались уже примиренные и готовые в любую минуту повторить все сначала.

Таковы были их летние забавы, но и студёная зима таила немало соблазнов. А тихие зимние вечера, когда вся

семья, собравшись у жаркой печки, слушала рассказы отца о походах приамурских партизан!.. В сущности, первый переход от Анновки до Благовещенска интересовал ребят мало: Анновка была окончательно забыта. Постоялых дворов, на которых отдыхали зазейские крестьяне, двинувшиеся в Благовещенск выручать Советскую власть, они не знали. Но Архиерейская дача!.. Она была рядом: стоило выйти на крылечко — и можно было услышать, как скрипят заснеженные ветви березовой рощи, окружающей громоздкий двухэтажный особняк, и могилу неизвестного матроса. Отец неторопливо и мерно рассказывал:

— Ну вот, привели нас Владимир Юшкевич и Степан Чихман на Архиерейскую дачу. Привели и говорят:

— В городе засели белогвардейцы, и пляшут они под указку атамана Гамова, только недолго ему атаманствовать. И выдумал же собака: «Я есть сила, я есть власть в Амурской области!»! А наша задача, товарищи, — всыпать ему по первое число. Ясно? На вокзале их, белых-то, собралось много, это их самый важный заслон, вот и надо ударить по нему, ребята. Ударим?

— Ударим! — отвечаем мы...

— Господи боже мой, вояки, — усмехается накрывающая на стол мать, — самому-то восемнадцать тогда сравнялось. Только повенчались.

— Не мешай, старуха.

— Да какая же я старуха? Всего на один год и постарше-то тебя...

Ребятишки прыскают. Это очень смешно, когда отец называет мать старухой. Оба они еще совсем молодые на вид, крепкие, ладные. Мать, конечно, побойче, ее не переговоришь, но Иван Григорьевич хорошо изучил жену за годы совместной жизни. Он знает: стоит ему промолчать — и она умолкнет. Он так и поступает в критические моменты, и теперь, помолчав, уже без помех продолжает свое повествование...

— Вот и пошли мы через кирпичные заводы. Их много было за линией, заводов-то этих, китайцы-кустари их держали. Подошли мы к вокзалу с трех сторон да и ударили беглым огнем. Однако белые поначалу не растерялись — давай поливать нас из пулеметов. Шутка ли дело, всех могли порешить. Тут один солдат империалистической войны... Эх, имени его не знаю... Бросился на пулеметчика и накрыл его, а мы пошли лавой. Да, дела...

Отец внезапно умолкает, весь во власти воспоминаний.

— Ну, а дальше... дальше-то что? — нетерпеливо спрашивает Николай.

— Да что ж дальше... Взяли мы вокзал — вот и все. Белые как посыпались! Которые убитые тут, которые раненые... А попов... А попов этих на вокзале было... видать со всего города сбежались. Выделил тут Юшкевич конвоиров, чтобы пленных (их до трехсот человек было) вести сюда же, на Архиерейскую дачу, а мы в город пошли. Однако слава о том, что красные вокзал уже отбили, впереди нас бежала...

— Идите-ка ужинать, — пользуясь минутной паузой, говорит мать. — Ребята, мойте руки.

— Всегда на самом интересном перебьет, — ворчит полголоса Петр. — Ей-то хорошо, она все знает...

Братья чуточку завидовали своему бывалому отцу. Это он с товарищами погрузил на пароход «Даур» оружие и боепитание и в одну из тревожных сентябрьских ночей пошел в верховья Зеи. Это за ним гнались на всех парах две канонерки с вооруженными до зубов японцами. Это он утопил в Зее винтовки и патроны и семнадцать суток скитался по тайге, не решаясь выйти к населенным пунктам. Это он исходил вдоль и поперек Амурскую область со своим отрядом.

Боевая молодость, боевые друзья! Это их отец рвал железнодорожные пути и перерезал телеграфные провода. Это их отца, раздев до нательного белья, тащили в трескучий январский мороз на расстрел японцы где-то там, возле мельницы Федченко, между Дмитриевкой и Богородским. Он спасся чудом, а год спустя вновь встретился с Владимиром Юшкевичем, чтобы воевать с врагом уже в Забайкалье.

Он стал участником знаменитых Волочаевских боев...

Они завидовали отцу, а рядом с этим чувством зрело другое. «Трудно ему поднимать такую большую семью. Но как ему помочь, как?» — думали ребята.

Николаю не было и шестнадцати лет, когда он стал навещать то на одно, то на другое предприятие города, решив поступить на работу. Не зашел он только на завод «Амурский металлист», где теперь работал отец. На мельзаводе № 2 внимательно отнеслись к гластастому пареньку и зачислили его на должность масленщика.

Узнав об этом, отец схватился было за ремень: ему

очень хотелось, чтобы дети учились и стали образованными людьми, но сын сумел настоять на своем.

Николай решил стать механиком. За два с половиной года он прекрасно освоил механизмы, сжился с коллективом.

И все это оборвалось разом в тот памятный июньский день, когда радиорупоры сообщили, что началась война.

Задумчивой стала их никогда не унывавшая мать.

— Опустеет теперь наш дом, — сказала она вечером, — первому тебе идти, Николай. А если это скоро не кончится...

Она не договорила, но все поняли, что второй на очереди — отец. Оказывается, он был далеко не стар: ему шел сорок первый год.

Спустя неделю Николай Романюк был в Приморье. Он смутно догадывался, что станция Раздольная — лишь первый этап начатого им большого пути. Здесь ему предстояло познать теорию трудного солдатского ремесла. А в сентябре Николай был уже под Ленинградом.

...Моросящий с утра до ночи и с ночи до утра дождь. Хлюпающая под ногами жижица топких болот и проселков. Сырые окопы, разбухшие тяжелые шинели, дикое завывание пронсящихся над головой снарядов...

Воинская часть, в которой служил Романюк, пробивалась к Москве. Под Москвой молодой связист был ранен.

Ранение оказалось тяжелым. Восемь долгих месяцев пролежал Николай в Бийском госпитале, на Алтае. А лежать ему, молодому, подвижному и общительному, было нелегко. Он стал замкнутым. Люди поступали сюда, выздоравливали и уходили, а он все лежал, провожая каждого из них тоскующим взглядом. Мучительны лечебные процедуры, но еще труднее было, когда он, читая письма, приходившие из дому, думал о матери.

Следом за Николаем были призваны в армию отец и сестра. Добровольцем ушел на фронт семнадцатилетний Петр.

«Как бьется теперь с малышами мать, как ей трудно!.. И невозможно помочь», — думал Николай.

Он знал — всем тяжело. Сколько семей осиротело, сколько матерей поседело за это время, сколько сыновних сердец перестало биться навсегда!

Николай от злости скрипел зубами и чувствовал, как в нем закипает кровь: нужно идти бить проклятых фашистов...

Неумолчно шумят суровые Брянские леса. Николай снова в строю. Он теперь воюет за двоих: за себя и за Петра, павшего смертью храбрых под Сталинградом. Мстит не только за брата — мстит за всех. Но Николаю чертовски не везет: в районе станции Белево он получает второе ранение, и его увозят в подмосковье, в Мытищи.

Ржев, Владикавказ, Воронеж... Словно стремясь наверстать упущенное, Николай Романюк участвует в самых рискованных операциях.

В бою под Дмитровым, в Орловской области, Николай Романюк получил тяжелое ранение в ногу и был направлен в Вичугский госпиталь.

«Я тогда был очень злым, — вспоминает он с улыбкой, — и от злости поправился быстро».

Пока он выздоравливал, сильно поредевшие дивизии гитлеровцев были отброшены далеко на запад.

Николая Романюка направили под Витебск, в Девятую Гвардейскую дивизию. Здесь он получил третье ранение: два осколка засели в тазовой кости, один — под коленом.

— Снова я попал в Вичугу, — хмурит брови Николай Иванович. — Тут уж я был не просто злым, а бешеным. Всего изрешетили, подлещы... Стал я подсчитывать. Счет к фашистам получился у меня длинный, и расплатиться по нему они должны были сполна. Ну и настал мой час: выпирав из госпиталя, направили меня снова под Витебск — к Баграмяну...

В эти дни пришла к нему любовь. Чернобровая Таня, выросшая в одной из деревень Смоленщины, служила в санбате. Совсем еще девчонка, а какие у нее глаза!

— Э, да ты совсем седой, — сказала она однажды и посмотрела куда-то в сторону.

Он не поверил. Откуда быть седине? Ему недавно минул двадцать первый.

Впервые за долгие месяцы он стал рассматривать себя в зеркало. Да ведь Таня, оказывается, права: седина густо усыпала его волосы. И за это должны ответить проклятые фашисты!

За ним утвердилась слава самого отчаянного парня во взводе автоматчиков. Как и раньше, он добровольно отправлялся за «языком», и те, кто не видел его тела, утверждали, что от Романюка отскакивают пули.

Николай хорошо помнит день, когда его часть вышла на берег Днепра. Генерал Шкурихин приказал форсировать

реку и отрезать по трассе Витебск—Орша крупную группировку врага от основных сил фашистской армии.

Фашисты не стреляли. Может их и не было на противоположном берегу? Но оказалось, что они, попросту, затаились. Подпустив лодки на близкое расстояние, враг ударил по ним из пулеметов. Ни один из смельчаков не доплыл до берега. И тогда взвод автоматчиков изъявил готовность повторить попытку переправиться. Вот тут-то, впервые за время их знакомства, Николай подметил тревогу в глазах Тани. Но он притворился, что ничего не заметил, только обронил, хмурия густые брови, да так громко, чтобы она непременно услышала:

— На подручных средствах плыть не надо.

— Вот как? А что вы предлагаете? — заинтересовался генерал.

— Пойду вплавь, — ответил Николай.

Генерал с сомнением покачал головой:

— А выдержите?

Глаза молодого автоматчика вспыхнули гордостью

— Я на двух реках вырос.

— Какие же это реки?

— С Амура я... Там и Зeya... Обе они не уступят Днепру.

— Тогда идите, — сказал генерал, — идите. Я вас понимаю.

Николай, уже не думая о присутствующих, снял с себя одежду, отобрал самое необходимое и вместе с автоматом закрепил на голове. Глянув с сожалением на обувь, оттолкнул ее ногой и вошел в воду. Течение даже у берега было стремительное, совсем как на Зее. Днепр сверкал в солнечных лучах. Деревья на противоположном берегу казались сплошным зеленым массивом. Все выглядело мирно, даже не верилось, что всего несколько минут назад здесь гибли люди. Вдруг вскипевшие белой пеной волны накрыли его с головой. Еще не отдавая себе отчета в случившемся, чисто инстинктивно, Николай нырнул как можно глубже, а когда всплыл на поверхность, скосил глаза в сторону оставленного берега. Он увидел, что за ним плывут два—три товарища и вокруг них тоже вскипают белые буруны. Фашисты били ожесточенно. Плыть становилось труднее и труднее. Но он знал, что ему нельзя умирать — надо выстоять и мстить, мстить врагу беспощадно. Он обязан выйти победителем из этого поединка.

— Когда до берега осталось метров двадцать, силы мои почти иссякли, — вспоминает теперь Николай. — Последние метры пришлось преодолевать на коленях. Выполз обессиленный, упал, чтобы отдышаться. Вверху надо мной гулко стучал вражеский пулемет, бил по моим товарищам. Я ухватился за свисавшие надо мной корни деревьев и, подтянувшись на руках, поднялся на кручу. Ползком, с гранатой в руках приблизился к пулемету. Взрыв. Потом снова шквал огня. Я швырнул вторую гранату...

Николай прижался к земле и на какое-то мгновение потерял сознание, окончательно выбившись из сил.

Его привело в чувство прикосновение теплой дружеской руки.

— Ранен? — склонился над ним однополчанин Иван Ищенко.

— Пустяки... Кажется, небольшая царапина.

— Подожди, сделаю перевязку...

Немцы больше не стреляли.

— Удрали или притаились, — предположил Ищенко. -- Курить хочется, вот беда.

Из-за кручи показался узбек Мавлюков и, подтянувшись на руках, молча опустился с ними рядом. Один за другим поднимались на берег остальные автоматчики.

— Что ж теперь будем делать? — спросил кто-то.

— Идти вперед, — ответил Романюк и стал натягивать мокрую одежду. — Днепр форсируют в разных местах, нужно идти до встречи со своими...

— Босыми? — усомнился Мавлюков.

Николай наполовину укоротил брюки.

— Чем не обувь? — спросил он с улыбкой, показывая то, что осталось у него в руках.

— На чулки больше похоже...

— Ну и пусть чулки, идти-то можно?

Обмотав ноги обрывками материи, все осторожно двинулись вперед. Двое суток оборванные, исцарапанные колючим кустарником, забыв про сон и еду, шли они вперед, одержимые единой мыслью: встретиться со своими. В стычках с небольшими группами немцев автоматчики дрались как черти и всегда выходили победителями.

Под какой-то деревушкой их обстреляли. Пришлось рыть окопы и лихорадочно отстреливаться от невидимого противника, посылавшего в них одну за другой жужжащие, как осы, пули. Еще никто не был ранен, но они знали, что

эта перестрелка может стать для них последней: боеприпасы были на исходе.

— Что ж всем погибать, ребята, — сказал Мавлюков. — А вдруг это наши?

Он встал во весь рост и закричал:

— А ну, стреляй, сатана, советский солдат фашистской пули не боится. Стреляй, говорят!

И тут случилось непонятное: вместо залпа вдруг раздался дружный смех.

— Наши! — радостно выдохнул кто-то. — Мать честная, в своих стреляли... Да как же так получилось, братцы?

К вечеру автоматчики были уже в селе, где расположился штаб полка, и, даже не умывшись, так сильна была их усталость, завалились спать. Но в четыре часа утра их подняли по боевой тревоге: в деревню ворвались фашисты. Как один поднялись девятнадцать автоматчиков. Они не выпустили из деревни ни единого немца.

— Гвардия вы моя, — сказал после боя начальник штаба майор Сазонов, — гвардия моя, даю вам слово, теперь вы отдохнете.

В новом, с иголочки, обмундировании, в сверкающих белизной подворотничках, стояли они перед командующим армией Баграмяном.

— Расскажите, как вы воевали? — обратился Баграмян к Романюку.

Будто молния пронеслась в мозгу и осветила самые дальние уголки памяти бывалого, несмотря на молодость, солдата. Разве мало повидал он за эти два года, разве последним шел в бой, разве мало гитлеровцев положила вот эта рука? Хотелось сказать что-нибудь очень значительное.

— Что же вы молчите? — мягко спросил Николая Баграмян.

И тогда Николай поднял свои горячие глаза и глянул в такие же черные, чуточку усталые глаза командующего.

— Не помню, как воевал, — ответил он растерянно, — не помню, — и щеки его полыхнули жарким румянцем.

Генерал широко улыбнулся.

— Может, так и нужно воевать, — сказал он, ни к кому не обращаясь, и положил на плечо Николая свою сильную руку, — так, чтоб помнили другие.

Он обратился к строю:

— Вы видели, как воевал Романюк? Видели, как он первым форсировал Днепр?

— Видели! Все видели! — дружно ответили боевые друзья Николая. — Да что мы, невеста стояла на берегу и плакала, боялась, чтобы не утонул...

— Ну, теперь порадуется, — улыбнулся Баграмян и пошел своей стремительной походкой вдоль строя.

Морозным декабрьским днем Иван Григорьевич Романюк водит меня по своему заснеженному садочку и подробно разъясняет, где тут прикопочные, а где морозоустойчивые фруктовые деревья. Видимо, ему доставляет большое удовольствие перечислять имеющиеся сорта и те, которые будут еще посажены, и рассказывать, какой урожай снял он минувшим летом и какие у него виды на будущее.

А Ольга Романовна, хоть ей уже шестьдесят, — все такая же неугомонная хлопотунья, она никак не хочет отпустить меня, не напоив чаем с вареньем из крупных янтарно-желтых ранеток.

Побывала я в тот же вечер и в рубленном домике, что минувшей осенью мельзаводоуправление предоставило их старшему сыну, Герою Советского Союза Николаю Ивановичу Романюку.

Девятилетний Коля вслушивается в неторопливый рассказ отца о боевых делах и недоумевает, как могут в эту самую минуту поднять веселую кутерьму его младшие братишки и сестра.

— Три сына у нас, — говорит Николай Иванович, улыбаясь Татьяне Осиповне, своей фронтовой подруге, верной спутнице жизни. — Три сына — три будущих солдата. А хотелось бы, чтоб не знали они, что такое война. Я вот и теперь в теле осколки таскаю, а они, эти довески, дают о себе знать: к непогоде хоть волком вой.

Он немногословен, скромный. Герой нашего времени, ничем не примечательный в быту, народный Герой.

Сбылась мечта Романюка: вернулся в родной город, на то же предприятие, откуда уходил на фронт. Даже волосы его, побелевшие в боях, вернули первоначальный цвет, а это, говорят, бывает только, когда человек по-настоящему счастлив...



СО Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

Путь командарма	5
Георгий Бондаренко	24
Девушка в очках	45
Человек большой души	66
Герой нашего времени	79

Любовь Ивановна Антонова
НАШИ ЗЕМЛЯКИ
Очерки

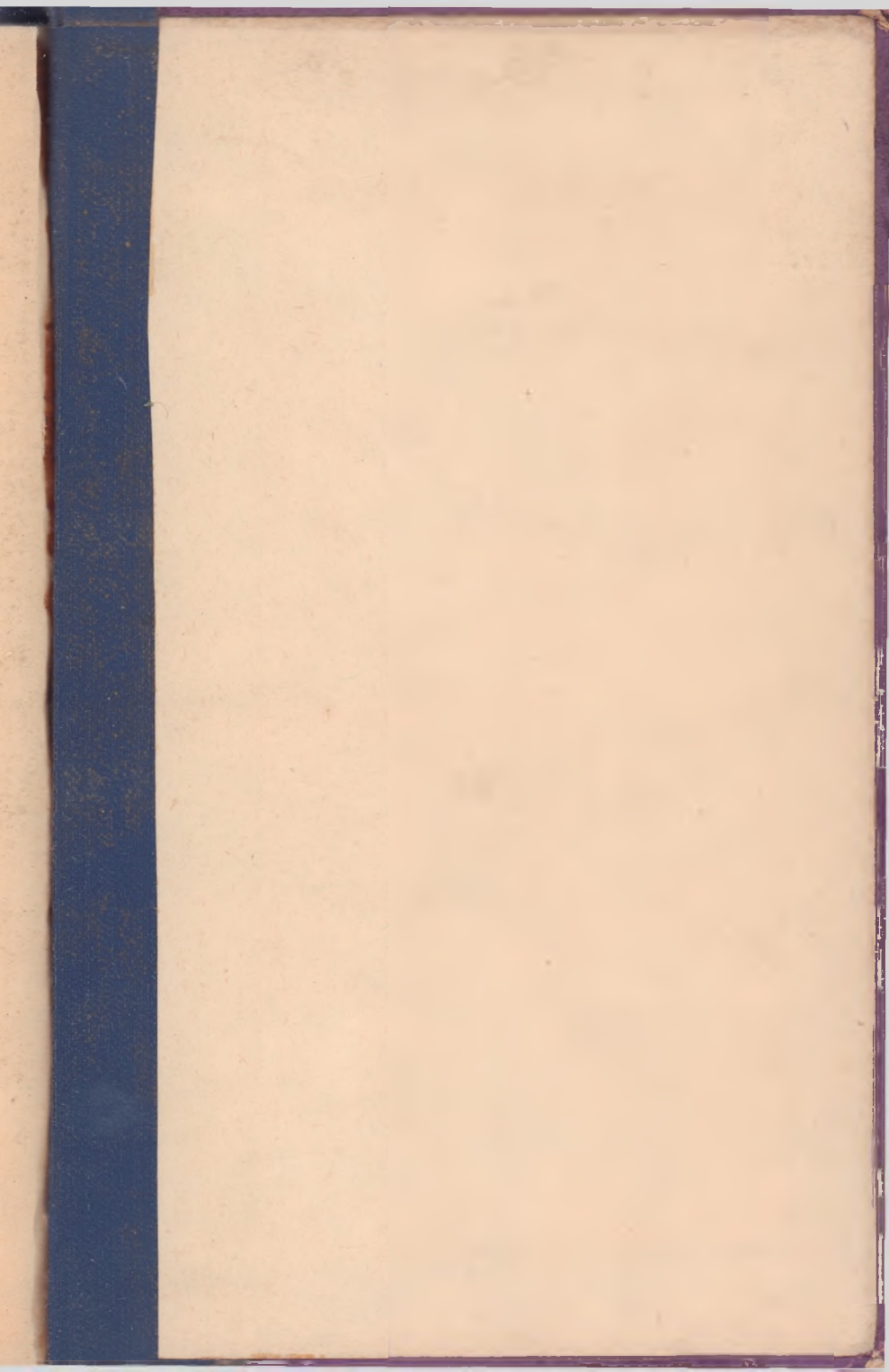
Амурское книжное издательство,
Благовещенск, Интернациональный пер., 13

Редактор О. К. Мамонтова
Художник А. И. Шавард
Тех. редактор А. А. Головин
Корректор Г. М. Деметьева

Сдано в набор 5/XI-1958 г.
Подписано к печати 19/XI-1958 г.
Формат 84×108/32. Бум. л. 1,4375,
печ. л. 2,874, усл. печ. л. 4,715,
авт. л. 5,57, уч.-изд. л. 5,62.
ВЕ01049. Тираж 15 000. Заказ № 8166.
Цена 1 руб. 70 коп.

Типография «Амурская правда».
Благовещенск, ул. Ленина, 173

15074
К 1450





АМУРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО